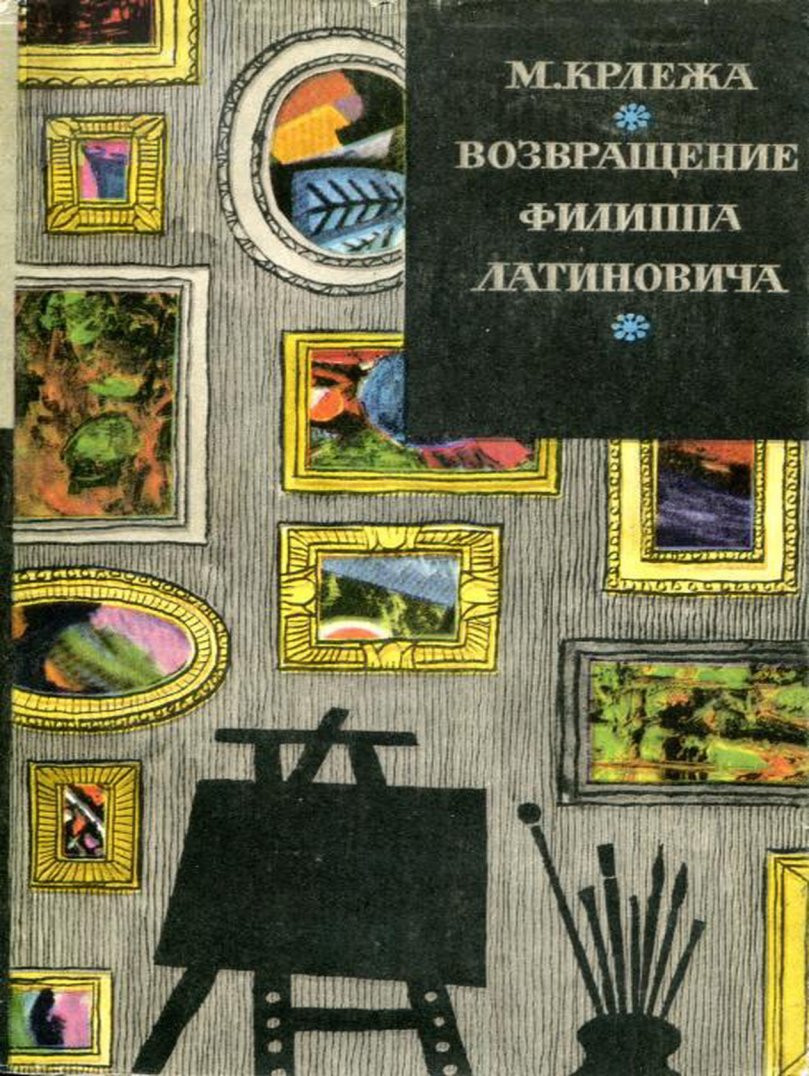

М.КРЛЕЖА
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ФИЛИППА
ЛАТИНОВИЧА

Возвращение Филиппа Латиновича

Мирослав Крлежа

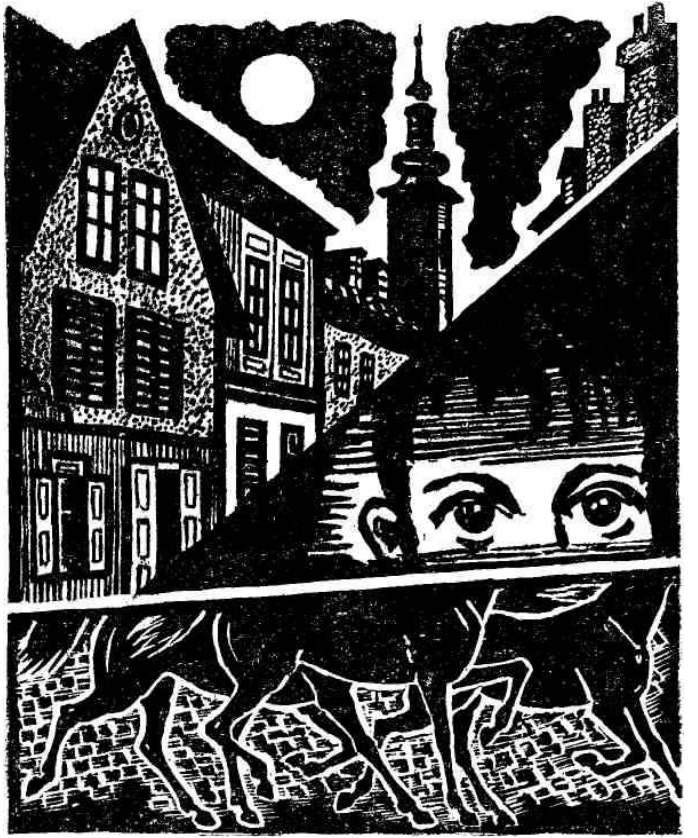
Возвращение Филиппа Латиновича
РОМАН О СУДЬБЕ ХУДОЖНИКА
ВОЗВРАЩЕНИЕ ФИЛИППА ЛАТИНОВИЧА

Возвращение Филиппа Латинович

М. КРЛЕЖА




Зарубежный
роман
XX
ВЕКА



М. КРЛЕЖА

ВОЗВРАЩЕНИЕ ФИЛИППА ЛАТИНОВИЧА

РОМАН

Перевод с хорватскосербского
И. ДОРБЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1969

РОМАН О СУДЬБЕ ХУДОЖНИКА

Проза Мирослава Крлежи резка, экспрессивна, жестоко правдива. Как художник он говорит о реальности, ее конфликтах и темных сторонах неуклончиво, с прямотой, отрицающей общественное зло, с жаждой жизненной цельности и внутренней гармонии чувств, не достижимых в мире, который писатель хорошо знает и изображает в своих произведениях.

Мощное лирическое чувство омывает его повествование, сообщая изображению многомерность, неожиданную глубину, просвечивающую через прозаичную, а порой и почти натуралистическую деталировку описания жизненного явления или события, психического состояния героя или особенностей человеческих отношений. Даже в самых сумрачных или пропитанных сатирической горечью страницах его произведений гнездятся боль и страдание от жестокости жизни, которой живут его герои.

Но человечность, присущая Крлеже, — отнюдь не всеядна. Он умеет не только сострадать, но и презирать и ненавидеть, и ненависть его жгуча

и бескомпромиссна. Она не знает жалости к тем, кто стоит на стороне неправды, несправедливости, зла, кто содействует их утверждению в жизни. Крлежа прежде всего художник социальный, с огромным общественным темпераментом, который ощутимо заявляет о себе во всех его произведениях, будь то стихи, пьесы или романы.

Изображение социальных конфликтов, как правило, дается Крлежей в их непосредственной обнаженности, в прямом противоборстве разных общественных сил. Никогда, даже прибегая к символике, иносказанию, притче, не уклоняется он от художественного исследования реальных противоречий жизни, что придает его повествованию неотразимую убедительность житейского свидетельства, достоверность и правдивость.

Крлежа входил в югославскую литературу в начале нашего века вместе с Владимиром Чериной, Августом Цесарцем, Иво Андричем — поколением очень разных по своим общественным и эстетическим воззрениям писателей, чье духовное созревание проходило в обстановке распада Австро-Венгерской монархии, в атмосфере огромных исторических событий, вызванных первой мировой войной и Октябрьской социалистической революцией в России. Сложное, тревожное,

исполненное великих надежд и великого трагизма время предопределило многие особенности творчества Мирослава Крлежи.

Он родился в 1893 году в буржуазной семье, получил хорошее образование, с юности увлекся идеей национальной свободы родного хорватского народа, во время первой мировой войны проникся революционными настроениями, солидаризировался с идеями III Интернационала, вместе с Августом Цесарцем издавал в 1919 году революционный литературно-художественный журнал «Пламен», просуществовавший недолго в условиях начавшейся политической реакции, а затем стал профессиональным писателем, завоевавшим общеевропейскую славу. Работая во многих жанрах как поэт, критик, эссеист, прозаик и драматург, Крлежа создал ряд крупных произведений, имеющих непреходящее значение не только для югославской литературы.

Уже в ранних его поэтических произведениях — поэмах «Пан», «Три симфонии» (1917) — явственно проступают бунтарские мотивы, противопоставление язычески чувственного, полнокровного, цельного мира античных мифов аскетическому идеалу христианства, философии клерикализма. Экстатично и страстно Крлежа

утверждает жизнь, творческое начало, заложенное в человеке. Но вскоре несколько отвлеченная поэзия Крлежи наполнилась живыми голосами реальности — жестокой, кровавой, трагичной реальности дней первой мировой войны. В его стихи ворвалось огненное дыхание революции, боль за обманутые лживой шовинистической пропагандой массы, за напрасно пролитую народами кровь на полях сражений, жажда возмездия, социальной справедливости.

Однажды забрезжит кровавый рассвет долгожданный,

Однажды засвищет пылающий ветер багряный.

Однажды, однажды! —

писал он в 1918 году, пророча смерть и гибель старому миру. И эта святая ненависть к собственническому обществу, его порядкам, лицемерию, бесчеловечности сохранится у Крлежи навсегда. Она составляет лейтмотив его прозаических произведений и тех, которые обличали мировую войну и ее зачинщиков (сборник рассказов «Хорватский бог Марс», 1922), и тех, где исследовалось и анатомировалось послевоенное буржуазное общество (цикл новелл и пьес «Глембаи», 1926—

1930), сборник новелл «Тысяча и одна смерть» (1933), роман «На грани рассудка» (1938) и др.

В новеллах, посвященных войне, Крлежа с жестоким реализмом показал, как духовно деградируют люди, поставившие себя на службу милитаристской машине, как муштра, казенный патриотизм, казарменный дух убивают в них все человеческие чувства, превращая их в безвольные придатки военного механизма. Собственно, тема обесчеловечивания человека буржуазной повседневностью становится для него одной из важнейших. С глубоким презрением изображая провинциальную претенциозность мелкотравчатых политиков, обрушиваясь на самодовольный национализм деятелей послевоенной Югославии, Крлежа показывает принципиальное различие, существующее между интересами народа, духовными запросами человека и прозаичной, жестокой, безрадостной действительностью королевской Югославии, страны, где у власти находилась ненавистная ему буржуазия, несшая на себе отпечаток балканской отсталости.

В книге новелл «Тысяча и одна смерть» Крлежа нарисовал впечатляющую картину повседневного существования людей в буржуазном обществе, находящемся в состоянии кризиса и неспособного

этот кризис разрешить и преодолеть. Мелочная, наполненная повседневными большими и малыми драмами и трагедиями, изнурительной и хронической нищетой, скудостью духовных и нравственных запросов, жизнь имеет единственным своим результатом обесчеловеченность человека, его физическое и моральное озверение. В лучшей новелле этого цикла — «Гроссмейстер подлости» — писатель запечатлел жизнь заурядного, обычного дома, населенного жалкими девицами, мелкими чиновниками и их семьями, лавочниками и спекулянтами, и нарисованная им сумрачная, безотрадная картина поднимается до уровня символического обобщения всей жизни рядового люда, бьющегося в тенетах страданий, несчастий, болезней, взаимного ожесточения, неспособного, однако, осознать бедственность собственного положения и изменить его. И за всеми повседневными горестями и невзгодами обитателей этого странного дома стоит холодная и расчетливая власть некоего «Первого хорватского похоронного бюро» и его Шефа, олицетворяющего капитал, наживающегося на человеческом горе и жизнях. Рассказ имел условно-аллегорический характер, придающий некие фатальные и роковые черты образу Шефа.

Несомненно, новелла эта, как, впрочем, и весь цикл, недвусмысленно обнажала отношение Крлежи к образу жизни и социальным порядкам, складывающимся в монархо-буржуазной Югославии, и говорила о том, что он, как художник и мыслитель, видел в буржуазии главного виновника социальных бедствий, постигавших народы, населяющие Югославию. Но его критика буржуазного миропорядка была еще несколько отвлеченной, и конкретность она приобрела в пьесах и новеллах, посвященных судьбе буржуазно-патрицианского рода Глембаев.

Если на ранние драматургические произведения Крлежи известное влияние оказала символистская драматургия начала века, то в пьесах «Господа Глембаи» (1928), «В агонии» (1928), «Леда» (1932) ощутимо воздействие позднего Ибсена, у которого мощный реалистический подход к явлениям жизни и человеческим судьбам начинал сочетаться с натуралистической и символистской интерпретацией житейских ситуаций и характеров героев. И в пьесах Крлежи ощутима могучая хватка художника-реалиста, проницательно исследующего и анализирующего социальные явления и процессы своего времени. История восхождения и утверждения

в жизни Глембаев абсолютно реалистична и набросана твердой и уверенной рукой художника, превосходно знающего свою модель. Циничная неразборчивость в делах, напористость, безжалостное отношение к людям, рассчитанное лицемерие и деловой нюх дали возможность Глембаям возвыситься в обществе и закрепить свое положение выгодными браками, соединившими их с аристократическими кругами. Но в самой семье Глембаев, с их перекрестными брачными союзами, нет мира, покоя и согласия. Борьба за имущество, за деньги раздирает глембаевский род, над которым нависло проклятие наследственной патологии, физической дегенерации, толкающих членов глембаевского семейства на самоубийства, порождающих у них душевные заболевания и наделяющих членов глембаевского клана темными, низменными страстями. Жестокость и кровавая тайна сопутствуют их семье, и эта сторона глембаевской истории дается писателем с густой окраской натурализма. Однако не биологические, а социальные причины предопределяют крах Глембаев, распад и разложение их семьи. Сама природа отношений, лежащих в основе их семейных связей, то есть имущественный интерес и своекоры-

стие, предопределили обособленность Глембаев друг от друга, их зоологический эгоизм, отсутствие у них человеческого взаимопонимания. Финансовый крах Игнята Глембая, главы фирмы «Глембай Лимитед», довершает крушение семьи, и ему сопутствует трагический поступок сына Игнята — художника Леоне Глембая, убившего свою мачеху — баронессу Кастелли-Глембай, в которой он увидел живое воплощение порока, губительной силы зла, разлитой в мире.

Образ баронессы и ее врага — художника Леоне Глембая. — весьма интересовали Крлежу. Баронесса Кастелли, ставшая мачехой Леоне, прошла трудный путь снизу вверх, из низших слоев общества в его элитарные круги, обретя внешний аристократизм, но оставшись по существу той же уличной девкой, какой она и была, впитавшей в себя все пороки общества и не расставшейся с низменными вкусами и наклонностями. Она стала как бы душой — порочной и греховной — семейства Глембаев. В ней видит своего врага художник Леоне, ибо для него она становится символом, олицетворением всего грязного и низменного в жизни Глембаев. Но не только она одна противостоит Леоне. Он — творческая натура, а Глембаи начисто лишены творческого начала:

они — потребители, паразитирующие на теле народа, вымогатели благ и привилегий, сами ничего созидательного не вносящие в жизнь. Поэтому конфликт между ними и человеком, не лишенным художественного дара, неизбежен, но форма этого конфликта, его проявления различны, и их особенности зависят от жизненных воззрений художника, от содержания и общей направленности его искусства, от его общественного кредо. Так думал Крлежа.

Если некоторые аспекты подобного рода конфликта были лишь намечены в «Глембаях», то самостоятельному исследованию вопроса о судьбе художника в буржуазном обществе было посвящено одно из самых значительных произведений Крлежи — его роман «Возвращение Филиппа Латиновича», написанный в 1932 году.

Общий колорит этого романа типично крлежевский. Резкие, жестокие и правдивые краски романа создают его неповторимую гамму — сумеречную, дышащую тревогой и болью, проникнутую лиризмом, сильным трагическим чувством. Характеры действующих лиц драматичны и обрисованы с неумолимой иронией, в том числе и образ главного героя — художника Филиппа Латиновича, уставшего от противоречий мира и

захотевшего укрыться от них под материнским кровом.

При внешней простоте сюжетного построения, при относительной ясности отношений его героев роман Крлежи на деле отличается большой внутренней сложностью. Обычные житейские ситуации, в которых оказываются действующие лица романа, имеют как бы двойной смысл — повседневный, естественный, и символический, обобщенный, не лишающий, однако, «Возвращение Филиппа Латиновича» реалистического характера.

Уже с первых своих страниц роман начинает светиться своим двойным смыслом. Филипп возвращается назад, в дом своей матери, откуда он был изгнан добрых двадцать три года назад гимназистом, после тягостного первого кутежа, которым он хотел заглушить разлад с жизнью, почувствованный им еще подростком, в те годы, когда мир мог открыться ему игрой радостных красок, а обернулся к нему унижением, жестокостью, безнадежностью. Филипп — блудный сын того мира, в котором жила его мать и миллионы подобных ей обывателей, чей духовный интерес ограничивался простыми материальными запросами, тягой к рутинности и обеспечен-

ности существования, Филипп — знаменитый художник, чьи работы пользовались успехом в художественных салонах европейских столиц, в выставочных залах картинных галерей, действительно блудный сын буржуазного общества, относящийся к нему критически и неприязненно, но он связан с ним кровной связью, органической и нерасторжимой, как бы ни декларировал и ни утверждал он свою мнимую независимость от мира, который он прекрасно знает и глубоко ненавидит. В его духовный состав, в его мировоззрение, которое Крлежа обрисовал широко, с подробностью аналитика, вошли неотторжимой частью иллюзии и предрассудки, надежды и убеждения буржуазного общества и те эстетические концепции, которые это общество исповедует.

Искусство и жизнь неразрывно слиты в судьбе Филиппа Латиновича, и их нельзя отделить друг от друга, ибо его художественные воззрения, его представления о задачах художника и искусства в современном мире объясняются во многом и особенностями его личной, человеческой биографии, а не только духовным климатом общества.

Славу свою и общественное положение Филипп завоевал за пределами своей родины, покинув

ее так же, как покинул он в ранней юности материнский кров. Он влился в среду европейских художников, пишущих в интегрально-общеевропейской манере, отошедшей от национальных и реалистических традиций. Латинович работал в духе фовизма, одного из «левых» течений мировой живописи, восходящего к опытам и художественным открытиям Матисса, Дерена, Вламинка — экспрессивных живописцев и смелых колористов. В подчеркнутом, преувеличенно-экспрессивном образе предстоит мир и перед глазами Филиппа, зорко улавливающего сложные изломы страстей, внутреннее напряжение человеческих чувств, обнаженную простоту переживаний, неожиданное и необычное столкновение и сочетание цветов и красок.

Крлежа изображает Филиппа как истинного художника, для которого искусство, творчество являются самой ценной частью его существования и придают осмысленность его жизни. Одновременно он остро и драматично ощущает свой разлад с миром, в котором живет. Но при всей серьезности отношения Филиппа Латиновича к своему долгу художника и конфликтам действительности, тревожащим его совесть, Крлежа изображает его критически, тщатель-

но и внимательно оценивая и его жизненное поведение, и его художническое кредо с более высоких нравственно-эстетических позиций, завоеванных им самим — писателем, для которого реализм являлся высшим и богатейшим художественным направлением современного искусства, опирающимся на вековые национальные и, в первую очередь, народные традиции в культуре. Изображение творческих мучений и исканий Филиппа Латиновича перерастает в романе в содержательную и продуманную критику его исходных этических и эстетических воззрений.

Одной из причин, толкнувших Латиновича в объятия современного интегрального «левого» искусства, как считает Крлежа, явилась его оторванность от родной национальной почвы и культуры, обусловленная его положением человека, не знающего ни своего отца, ни своего происхождения. Мотив этот имеет в романе не столько сюжетное, сколько символическое значение. Филиппу, сыну мелкой лавочницы, плохо понимающему загадочную для него и так не прояснившуюся до конца жизнь своей матери, легче было стать перекати-полем от искусства, нежели человеку, имеющему крепкие корни в

родной земле. В сущности, ничто не держало его на отчизне. С детства, размышляя над загадкой собственного происхождения, над таинственной жизнью своей матери, теряясь в предположениях, кто же его настоящий отец — то ли тихий каноник, старый друг их дома, то ли личный камердинер капитульского епископа, Филипп от прозаичной, скудной жизни в тесной, захламленной лавке матери уходил в мир фантазии, отдаваясь потоку собственного воображения, и уже в те ранние годы надломилась его связь с реальной жизнью, обозначилась его оторванность от действительности, определившая и его личную судьбу, и особенности его искусства. Ощущение собственной неполноценности, чуждости окружающему, устойчивому и мещански закоснелому миру возбудило в его душе не до конца осознанный, но постоянный протест против безликой несправедливости, неустроенности и неупорядоченности жизни, открыло его сердце сочувствию страданиям человеческим, но не могло придать ни его личности, ни его искусству внутреннего равновесия. Для Филиппа навсегда осталось недоступным целостное восприятие мира и его противоречий. Человек стал для него не только сосудом невзгод и страданий, но ни-

чтожной пылинкой в движении исторических событий, неспособной на них повлиять. Мир дробился в его восприятии на частности и подробности, и Филипп не мог определить, что же является главным и определяющим в жизни. События и причины, их порождающие, нивелировались, уравнивались в его восприятии, и он утрачивал меру в определении истинных жизненных ценностей. Постепенно мир приобретал в его глазах призрачность, все сущее превращалось в фантом, игру теней, которую и понимать и изображать становилось ему все труднее: скуднела его воля к творчеству, внутренняя затравленность становилась главным его чувством.

От искусов и соблазнов современной буржуазной цивилизации, от замкнутых эстетическими целями художественных устремлений его потянуло к родным местам, на родимую почву. Жизнь Филиппа подошла к развилке, к переломной черте, отделяющей будущее от прошедшего, переступая которую человек делает важный и решающий выбор, определяющий дальнейшее течение его дней.

От Филиппа зависело вырваться из томительного плена самоцельного искусства и слиться с

реальной жизнью, отыскать затерянную дорогу к глубинным основам народного бытия, но он остался во власти собственных индивидуалистических переживаний. Обогащенный житейским опытом, культурой, владеющий арсеналом современной философской мысли, постоянно размышляющий над загадками человеческих отношений, он, однако, в своих блужданиях по перепутьям новейшего искусства утратил способность воспринимать голос истории. Стрелка его духовного компаса размагнитилась и уже не могла показать ему верный путь в лабиринте существования.

Его мечты об идиллическом покое, который он обретет на родине, рухнули сразу, как только он столкнулся со стихией крестьянской жизни своей родной крестьянской страны. Неподвижной, погрязшей в скупости и темных предрассудках, косной и ограниченной предстала она перед ним. И в подобном восприятии народной жизни тоже проявилась беспочвенность Латиновича.

Крлежа суровыми и жесткими красками рисует быт и нравы паннонской деревни, и может показаться, что он и герой его романа одинаково смотрят на хорватского мужика. Но это предположение ошибочно. Через четыре года после

опубликования «Возвращения Филиппа Латиновича» вышла в свет одна из своеобразнейших книг европейской поэзии нашего века «Баллады Петрушки Керемпуха», написанная Крлежей на кайкавском диалекте хорватскосербского языка, в которой нашли отражение события крестьянского восстания 1573 года, жестоко подавленного хорватскими, австрийскими и мадьярскими феодалами. Могучее чувство любви и сострадания к восставшим хорватским мужикам, неистовый гнев к их поработителям и палачам делали баллады этой книжки жгучими, излучающими ярость и к современным поработителям хорватского крестьянства. Написанные от лица поэта-скомороха Петрушки Керемпуха, оплакивавшего павших борцов за свободу и проклинавшего всех властителей — больших и малых, — баллады, несмотря на свои подчеркнуто исторический колорит и стилизацию под старинную поэзию, были полностью обращены к современности, и в них Крлежа выступал как поэт национальный, говоривший от лица народа и языком народа. Он жил его болью и страданиями, его горем и его невзгодами:

...Вот графская клетка!

В ней лихо вы пляшете танец кандальный,
многострадальный,
а я, Петрушка, певец печальный,
под виселицей и повесил
свою тамбуру. Ах, не весел
напев керемпуховских песен!

В сущности, мало что изменилось в положении крестьянства в буржуазно-монархической Югославии, где оно было главным объектом эксплуатации. Недвусмысленно современно звучали строфы из «Причитания о налогах»:

Помещику с пашни — половину,
с луга — луговину,
с рыбной ловли — рыбовину,
с виноградников — еще половину.

И столь же современен был революционный призыв, содержавшийся в словах Керемпуха, обращенных к власть имущим:

Но день придет — поверьте, люди, —
под косу смерти лягут судьи.
Они позабудут кричать нам: «Сигнаре

кум ферро!»[1] *И больше уж запахом гари*

с костров не повеет. Имею я веру, —

услышат и судьи: «Сигнаре кум ферро».

Крлежа видел и чувствовал, как в хорватской деревне зреет гнев против социальной несправедливости, как крестьянство, отходя от извечной настороженности к новому, проникается идеями свободы. Писатель обрушивался на косность и отсталость деревни, но он ясно сознавал, какое богатство революционных и духовных потенций заложено в народе — и он не ошибся. В годы войны с гитлеризмом, в борьбе за социальное преобразование страны эти потенции были реализованы полностью, дав возможность народам Югославии отстоять свою национальную независимость и построить новое общество.

Филипп Латинович не ощутил этих духовных и творческих возможностей народных. Размышляя о древней Паннонии, он остался чужд Паннонии современной, ее нуждам и запросам. Неврастеническая замкнутость миром собственных переживаний, порой болезненных движений

[1] Примечания: 1
Клеймите железом *(лат.)*.

собственной души, закрыла ему дорогу в большой мир народной жизни. У него даже не возникло желания почувствовать народную душу, и он заплатил за это одиночеством и крушением всех своих человеческих надежд, обеднив свое искусство, лишив его жизненной полноты.

Материнский кров, где Филипп надеялся обрести покой и внутреннее равновесие, оказался для него мнимым прибежищем. Те же вопросы, которые угнетали его, встали перед ним снова, ибо загадочная жизнь матери предстала перед ним еще более загадочной. Он знал ее и помнил всегда как владелицу табачной лавки, угнетенную жизнью, богомольную женщину. Теперь, в годину его возвращения, она предстала перед ним как бойкая, жаждущая удовольствий стареющая дама, хозяйка собственного дома, сдающая еще один дом в аренду, одна из тех, кто принадлежит к имущим общественным слоям. Ложь, окутывавшая и ее жизнь, и детство Филиппа, осталась в их отношениях, не принесших им человеческой близости.

Но под кровом матери его ждали более тягостные и сложные переживания. Неумолимая логика избранного Филиппом жизненного поведения уводила его от ясной, дарующей и великую

боль, и великую отраду слитности со сферой народного бытия и приближала его к миру глембаев, с обломками которого он столкнулся в Костаньевце, в провинции, где жила его мать. Судьба и случай свели его с женщиной, характер которой во многом напоминал характер баронессы Кастелли-Глембай, ее прошлое и ее способ существования. Вставшая на его жизненном пути женщина — Ксения Радаева, в просторечье Бобочка, в прошлом супруга министра, а ныне кассирша в кафе, с которой Филипп познакомился на приеме, устроенном бывшим имперским чиновником господином Лиепахом, старым другом его матери, — входит в роман как олицетворение греха, как живое воплощение низменной чувственности — неотъемлемой черты нравов элитарных кругов старого общества, лицемерно прятавшейся за внешней благопристойностью поведения, за разглагольствованиями о святости семейного очага, высокой нравственности и моральной частоте, за показной религиозностью. Мутная атмосфера бесчисленных адюльтеров, нечистоплотных денежных сделок, ядовитой лжи сопутствует Бобочке. Сопутствует ей и бывший адвокат Владимир Баллочанский, в прошлом любовник Бобочки, совершивший из-за нее и ее

безумного транжирства растрату, отсидевший положенный срок в тюрьме и прибившийся к Бобочке на правах приживала, ныне старый, слюнявый паралитик — живая память о ее прошлом. Фон Баллочанский появляется в качестве второстепенного лица в пьесе «Господа Глембаи» и является связующим, звеном между их канувшим а прошлое миром и настоящим, современностью, обозначая родовую связь Бобочки Радаевой и ее окружения с глембаевскими устоями и образом жизни, правда сильно переменившимся и облинявшим в годы после первой мировой войны. Сам по себе Баллочанский — полное ничтожество в человеческом и духовном отношении, и его с Бобочкой связывают не только общие воспоминания и вместе прожитый кусок жизни, не только судьба жены Баллочанского, покончившей самоубийством в дни его финансового и служебного краха, но и их общий аморализм, полная нравственная и моральная деградация. Аморализмом веет от Бобочки, и Филипп Латинович совершил крупный шаг к духовному падению, ставши ненадолго возлюбленным стареющей Бобочки. Этот эпизод в романе имеет глубокий мировоззренческий подтекст: жизненные и эстетические воззрения Филиппа, его индивидуалистические

метания, делая его человеком, лишенным почвы, неизбежно толкали его в тенета декадентщины, самой откровенной и недвусмысленной, ибо Бобочка полностью сохранила свои декадентские замашки и пошиб, характерные в прошлом для ее салона, где снобы пили вино из человечьих черепов, болтая о Шёнберге и Онеггере, и для ее жизненных взглядов.

Оказалось, что Латиновичу нетрудно переступить рубеж, отделявший его самого и его искусство от декаданса, и этот рубеж в его релятивистском самоощущении был зыбким и неустойчивым. Еще более зыбкой стала граница, отделяющая его мироощущение от мироощущения декадансного, когда Филипп столкнулся с одним из старых друзей Бобочки — доктором дерматологии и философии Сергеем Кирилловичем Кириалесом.

Если до эпизода с Кириалесом роман Крлежи представлял собой исследование биографии и взглядов современного «левого» художника, в котором с аналитической ясностью устанавливались истоки его разлада с жизнью, если в предыдущих эпизодах Крлежа подвергал уничтожающей критике вырождающуюся аристократию, показывая ее антинародную сущность, если

в сценах, рассказывающих о греховном и безнравственном прошлом и настоящем Бобочки, писатель разоблачал внутреннюю опустошенность, имморализм правящих классов, то в заключительной части романа, где появляется Кириалес, господствует стихия интеллектуальной критики буржуазной идеологии в наиболее распространенной форме ее бытования.

Кириалес — человек с темным происхождением, плод смешения многих кровей, несомненно одаренная личность, ученый и философ, «гражданин вселенной», не пускавший нигде прочных корней, исколесивший весь мир, от Тибета до Паннонии, вносит в роман очень важный оттенок современного буржуазного сознания, определяющийся *нигилистическим* отношением к жизни, человеку, общественным идеалам.

Для него человек — одна из самых жестоких тварей, населяющих бедную землю, бесстыдное, лживое, глупое, злобное, обезьяноподобное животное, ни о какой вере в творческие возможности человека, в социальный инстинкт, заложенный в него, в доброту, свойственную человеку, у Кириалеса нет и речи. Для него несомненен заведомый неуспех попыток целенаправленного воздействия на общественный

процесс, он ненавидит и боится революцию и готов осквернить идею свободы, ибо она ему органически чужда. Пронесясь по градам и весям мира, нигде не задерживаясь надолго, он тем не менее не простой созерцатель игры исторических событий, наблюдающий со стороны перемены, идущие в мире. Он сам носит в себе разрушительное, нигилистическое начало, поэтому он с презрением относится к артистизму Филиппа, считая, что его искусство недостаточно деконструктивно и разрушительно. Чудовищные по своей болезненной извращенности сцены, свидетелем которых случайно становится Латинович, странный союз Кириалеса с Бобочкой и Баллочанским есть плод полной моральной дегенерации этих людей — сынов уходящего мира, выдвинувшего на передний план как свое защитное оружие нигилистический взгляд на человека и мир.

Казалось бы, Филипп Латинович — художник, то есть творец, созидатель по своей природе и жизненному призванию — должен был бы восстать всем своим существом против Кириалеса и его разрушительной человеконенавистнической морали и философии. Но мудрость Крлежи — писателя-реалиста — состоит еще и в том, что

он весьма убедительно показал, что Филипп внутренне безоружен и против этой формы буржуазной идеологии, что его эстетические и мировоззренческие устои слабеют перед натиском мрачных кириалесовских философствований. Слишком зыбко и неустойчиво средостение, отделяющее взгляды Филиппа от нигилизма Кириалеса, и в этом беда и слабость его искусства, отделенного от глубинного потока исторической жизни, далекого от истинных нужд народа, сыном которого был Филипп, и от идей, несущих ныне освобождение миру.

Однако нигилизм — не всесилен. Это оружие слабых, изверившихся людей, утративших контакт с живой историей и прячущихся от нее за броней всеотрицания. С большой психологической зоркостью и точностью увидена и изображена была Крлежей катастрофа Кириалеса, его человеческий крах, крушение всех его философских построений и, наконец — как закономерный финал его нечистой, эгоистической жизни, — добровольная смерть под колесами поезда. Время деконструктивных идей исчерпывает себя, и судьба Кириалеса служит тому подтверждением.

Не менее закономерен и конец Бобочки — этого

чудовищно порочного детища старого общества. Ее затянувшиеся отношения о Баллочанским, которого она сначала разорила, а под конец жизни хотела бросить на произвол судьбы, не могли кончиться добром. Возмездие настигло ее, и не важно, что оно на сей раз обрело облик старого паралитика. Кошмарная смерть Бобочки была предопределена всем ее прошлым. Как ядовитая, блестящая муха, кружилась она над тронутым тлением, разлагающимся старым обществом, и имморализм, жестокость, бесчеловечность этого общества неизбежно должны были в конце концов поглотить и ее, и Баллочанского, и им подобных. Крлежа не оставляет на этот счет никаких иллюзий.

Никаких иллюзий не питает он и относительно своего героя. Показывая без упрощений, во всей сложности его духовные искания, его жизненные заблуждения и драмы, Крлежа с неумолимой правдивостью подтверждает всем содержанием романа, что истинное искусство, каковы бы ни были субъективные устремления и намерения художника, может возникнуть лишь тогда и принести людям радость, когда оно питается соками живой истории, когда оно обращено к насущным нуждам народным, когда оно с бескорыстной

любовью служит людям и человеку, утверждая идеалы гуманизма и свободы. Замкнувшееся само в себе, в сфере частных человеческих переживаний, искусство, как бы формально оно ни было изощренно, ведет художника в тупик, а в современном буржуазном обществе склоняет его к компромиссу с действительностью, лишает его критического чутья и способности воспринимать новое, конструктивное, что входит в историю.

Мирослав Крлежа судил своего героя с позиций гражданственного реалистического искусства, с позиций высокого общественного идеала, и суд его был объективен и справедлив. Критикуя бескомпромиссно и убедительно буржуазное искусство, Крлежа закладывал основы социалистической культуры народов Югославии. Еще с большей резкостью и прямотой критиковал он самое буржуазное общество, порождающее настроения и взгляды, исследованные и осужденные им в романе о судьбе художника.

Обращаясь к новым темам, к изображению повседневной жизни югославской провинции межвоенной поры, Крлежа не ограничивал себя романами бытописательства, даже подкрепленного социальной критикой. В трагикомическом романе-гротеске «На грани рассудка», написан-

ном за год до начала второй мировой войны, Крлежа подверг безжалостному осмеянию двуличную мораль собственнического общества, его страх перед правдой — этим мощным оружием революционной мысли и искусства. Начатый как своего рода исследование провинциальных нравов и феномена обывательщины, роман Крлежи постепенно превращается в антифашистскую сатиру, направленную на профашистские круги монархо-фашистской Югославии.

Надвигающаяся на Европу и Югославию фашистская опасность из-за попустительства буржуазных демократий, отступивших перед нажимом агрессора, представлялась неотвратимой; горизонт истории, казалось, был затянут непроглядными тучами. Политическая и духовная атмосфера кануна второй мировой войны питала пессимистические и скептические настроения Крлежи, что не могло не проявиться и в его романе, кончающемся криком отчаяния его героя.

Антифашистской теме Крлежа остался верен и в своем крупнейшем произведении — аллегорическом романе «Банкет в Блитве» (1939—1962), в основе которого лежит изображение конфликта между критическим разумом и бесчеловечностью реакции, а также художественное исследо-

вание диктаторской власти фашистского толка и проблемы ее воздействия на человеческие умы. И в этом обширном романе Крлежа проявляет себя как бескомпромиссный социальный сатирик и глубокий моралист, утверждающий принципы свободы человека.

Мирослав Крлежа — писатель сложный. К характеристике его художественного опыта нельзя подходить с однозначными оценками, но главным в его творчестве является верность идеям революции, которые, преобразив его бунтарские настроения молодости, сделала его одним из крупнейших социалистических писателей нашего времени.

Б. СУЧКОВ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ФИЛИППА ЛАТИНОВИЧА



Светало, когда Филипп прибыл на капитульский вокзал. Двадцать три года не заглядывал он в это захолустье, а все помнил: и прогнившие, склизкие кровли, и яблоко на шпиле монастырской колокольни, и серый, ветром исхлестанный дом в глубине темной аллеи, и гипсовую голову Медузы над тяжелой окованной дубовой дверью, и холодную дверную скобу. Двадцать три года миновало с того утра, когда, после трехсуточного кутежа с проститутками и кельнершами на

украденные у матери сто динаров, он, гимназист седьмого класса, притащился к этой двери, подобно блудному сыну, и, найдя ее запертой, остался на улице, и с тех пор уже много лет так и живет на улице — да, в общем ничего не изменилось! Стоя перед чужой запертой дверью, Филипп, как и в то утро, ощутил холод на ладони от прикосновения массивной железной скобы; он знал, как туго поддается под рукой эта дверь, он слышал, как шевелится в кронах каштанов листва, он видел, как вспорхнула над головой ласточка, но в то утро все было точно во сне: он был в хмельном угаре, усталый, невыспавшийся, и ему все казалось, будто у него что-то ползает по воротнику — видимо, клоп. Никогда не забыть ему того мрачного рассвета и той пьяной, последней, третьей ночи, и серого утра — не забыть до конца дней!

На углу, где мальчиком он играл со своим белым барашком, находилась стройка, обнесенная высокой стеной. На этой высокой стене были намалеваны рекламы дамских корсетов и коксовых патентованных печей: стянутые в талии корсеты были элегантны, а чугунные патентованные печи снизу лизало пламя.

Да, здесь, у этой стены, он остановился в то утро и дальше не мог ступить шага. Сердце билось в

горле, в ногах, в суставах, в груди, между ребрами, в мышцах — он весь превратился в одно темное кровавое сердце и, чтобы не упасть, приник к заплесневелой, покрытой пятнами селитры, старой стене. И долго так стоял под элегантными женскими корсетами, пачкая пальцы известкой и грязью. Прошел подмастерье пекаря с корзиной теплой сдобы — запахло сайками, и еще долго из-за угла доносилось шарканье шлепанцев по асфальту…

Филипп подошел к старой, ветхой стене и коснулся ее рукой, словно дорогой забытой могилы. Ветры и дожди смыли корсеты, из-под штукатурки повсюду проглядывали кирпичи, и только в одном месте сохранился синеватый язычок коксового пламени под ножкой чугунной патентованной печи. Увидев этот давно отживший символ, Филипп почувствовал, как в сознании воскресают далекие, ушедшие в вечность картины, и ему показалось, будто он совершенно один стоит лицом к лицу с непостижимо бескрайними просторами.

Из-за угла послышались шаги. Прошел подмастерье пекаря с корзиной теплой сдобы — запахло сайками, и еще долго из-за угла доносилось шарканье шлепанцев по асфальту. Нигде ни души.

Пустынная, обсаженная деревьями улица со старинной серой колокольней в глубине, слабые отблески погожего утра в стеклах закрытых окон; занавеси, цветы в вазонах, запертые двери, цепи, львиные головы, каменные ступени и медные таблички с именами жильцов, изредка старинные колокольчики. Перед двухэтажным домом — фонарь. Тот самый фонарь, что освещал его кровать во время жестоких детских болезней; Филипп целыми ночами смотрел на его оранжевое отражение в плафоне с драконами, глициниями и сизой сиренью и на огонек, что, догорая, неустанно бился перед глазами, точно больная рыбка в четырех грязных стенках аквариума.

Все было серым, а дом казался необычайно темным, почти черным. Медуза над окованными, напоминавшими крепостные ворота дверями будто скорчилась в предсмертной гримасе, губы ее вздулись, толстые змеи-гадюки на голове в тревоге взвились. Это была северная сторона дома, вылизанная ветром. Странно было подумать, что под кровлей этого серо-землистого дома когда-то давно протекало его горькое, несказанно напряженное детство. Сюда они переселились после продажи табачной лавочки, когда в материнской

карьере произошел поворот к лучшему и когда каноник Ловро стал открыто приходить к ним на чашку кофе и партию домино…

Филипп помнил все: и прикосновение дверной скобы к руке, и туго поддающуюся, тяжелую, массивную дверь, и длинный, выкрашенный серой масляной краской непроветриваемый коридор, и деревянные ступени, и высокий белый переплет выходящего в сад окна между первым и вторым этажами. И вдруг подумал: а что, если он войдет? Филипп медленно подошел к двери, взялся за тяжелую холодную скобу, скоба поддалась, и дверь отворилась: дом был незаперт. Неслышно прикрыв за собою дверь, он тихонько, как вор, стараясь не шуметь, на цыпочках, сдерживая дыхание, прокрался к окну между этажами. Окно было распахнуто, а сад уже полон белого утреннего света. С векового, раскидистого ореха несся многоголосый птичий грай. Не шелохнувшись, стоял старый сад, политый, подрезанный; его четыре симметрично проложенные белые дорожки, желтые розы и стеклянные шары, гномы и фонтан с золотыми рыбками, как и прежде, содержались в образцовом порядке, словно ничего не произошло, словно в жизни вообще ничего не происходит. У заросшей виноградом стены из-за

густой зелени барвинка проглядывала крыша курятника. Перед ним — сложное сооружение для выбивания ковров «Teppichklopfer», тот самый, на котором Филипп зажигал фейерверк на свадьбе Каролины. Каролина жила со своим отцом в пивнице. Отец делал птичьи чучела с цветными стеклышками вместо глаз, а Каролина, толстуха лет на двенадцать старше Филиппа, мыла в погребе бутылки.

Филипп страдал по этой Каролине целых три года, страдал безнадежно и мучительно. Рано созревший, нервный, неуравновешенный юнец, отягощенный сложными и мрачными комплексами моральной неполноценности, с нечистой кровью в жилах, истерзанный манией преследования, влюбленный в маленьких, глупеньких и наивных девочек (своих сверстниц), ощутил однажды на своих коленях толстые жирные ляжки добродушной Каролины.

Произошло это внизу, в кухне, подле кипящих кастрюль, у раскаленной плиты; он сидел на кухонной табуретке и смотрел, как Каролина стирает белье, а Каролина, вылив полную кастрюлю кипятка в корыто, в ожидании, пока вода остынет, уселась к Филиппу на колени. Филипп в ту пору уже читал «Нана» Золя, писал акваре-

лью, с отвращением опустошал первые кружки пива и блевал после пятой сигареты. И вот такой молодой человек, игравший в шахматы и футбол, склонный, с одной стороны, к наивнейшим ребячествам, а с другой — разъедаемый самыми необузданными пороками, вдруг почувствовал на своих коленях толстый горячий зад Каролины, Необдуманная и непроизвольная выходка Каролины осталась самым сильным, мучительно сладострастным переживанием его юности.

Он гонял собак, вылавливал улиток, наблюдал, как кастрируют петушков, а сам нет-нет да и бросал взгляд на бледные очертания виноградников Костаньевца, куда Каролина уехала со своим виноградарем, а по ночам, точно в бреду, грезил о тех невозвратных волшебных минутах, когда Каролина сидела у него на коленях. Зажигая последний свой фейерверк на свадьбе Каролины, он был на грани самоубийства, а потом все лето прыгал с плеча статуи святого Флориона под мост в надежде, что вода станет кровавой. Среди ребят ходила легенда, будто какой-то мельник бросился однажды со святого Флориона в воду и точно сгинул, тела его так и не нашли, только вода в том месте стала кровавой.

Фейерверк на Каролининой свадьбе! Кровавая

пена под мостом! Сколько уже раз вода над ним становилась кровавой, а он все еще плывет, все еще движется! И в то утро, когда он, вор, укравший сто динаров, подобно кающемуся грешнику, поднимался по этим ступенькам (а пришел он от развратных, пьяных девок) и родная мать с чувством гадливости выгнала его на улицу, и в то утро роковая мутная вода была кровавой. Как он дрожал в то утро, стоя у окна ни жив ни мертв, и как невыносимо тянулось время! А ночь перед тем, когда у него еще оставалось сорок крон и была возможность куда-нибудь уехать, и та ночь была ужасной! И последняя ночь, когда таяли форинт за форинтом и с математической неотвратимостью приближалась катастрофа, была кошмарной и предрекала смерть. А предстояло самое трудное: подняться еще на четырнадцать ступенек на второй этаж и позвонить у двери налево. В то далекое утро, на рассвете, он провел у этого окна, наверное, больше часа и так и не двинулся бы с места, если бы не услыхал, как на первом этаже отворилась дверь и кто-то, как ему показалось, пошел сюда, на второй этаж. Это была прислуга, она несла кастрюлю с кукурузной мукой кормить цыплят. Вот почему он очутился у материнской двери — крашенной ко-

ричневой масляной краской, с медной ручкой и окольцованным медью глазком, походившим на миниатюрный иллюминатор на судне. Кружок с внутренней стороны глазка был спущен.

Табличка в деревянной рамке.

Имя и фамилия его матери. Вдовы. Так хорошо ему знакомые имя и фамилия. Здесь проживает госпожа, которая ходит в трауре, вдова, его мать, сиделица табачной лавки, что на Фратерской улице, а ее сын, гимназист седьмого класса, вернулся из борделя, и все только начинается.

Как он позвонил и когда?

Долго никто не отзывался, кругом было тихо, точно все вымерло. Он позвонил снова. Батареи их электрического звонка всегда были на исходе, и звук был очень слабым. Это было весьма кстати. Спит. Крепко спит. Тем лучше, пусть все произойдет как можно позже.

Наконец после бесконечных звонков отворилась дверь комнаты и послышалось шлепанье туфель по дощатому полу. Это была она. Кружок на глазке отодвинулся, и он почувствовал холодный, неумолимый взгляд матери. Потом раздался ее строгий суровый голос. Она спросила, что ему нужно? И при этом обращалась к нему на «вы».

— Что вам угодно?

— Это я, открой!

Тот же суровый голос заявил из-за запертой двери, что она знать его не знает и пусть он убирается туда, откуда пришел. Ему там место. И опять на «вы»:

— Ваше место там!

Филипп чуть не потерял сознание, тем не менее из неясного разговора сквозь таинственный дверной глазок он понял, что дело идет о чем-то таком, через что перешагнуть нельзя. О разрыве. И по тому, как опустился кружок, как снова послышалось шлепанье туфель, как захлопнулась дверь в комнату, Филиппу стало ясно, что дверь эта заперта для него окончательно и бесповоротно.

Он повернулся, сошел вниз и так пробыл на улице целых двадцать три года один-одинешенек.

И вот сейчас, весенним утром, он снова в этой глухой провинциальной дыре, на втором этаже чужого сырого дома. Неудобно, если кто-нибудь заметит, как какой-то незнакомец шныряет в предрассветном сумраке по чужому пустому дому. И Филипп на цыпочках, шаг за шагом, затаив дыхание, бесшумно выбрался на улицу. Под густой зеленью развесистых каштанов было еще совсем темно и сумрачно.

* * *

Птицы, воды и луга — все по-утреннему легкое, весеннее, казалось трепетной и зыбкой, как сон, игрой света и теней, а Филипп никак не мог проглотить обиду, стоявшую в горле комком горечи. Скорый поезд прибыл на вокзал в начале четвертого, а теперь уже вокруг города над нивами и пашнями разливалась прозрачная синева раннего апрельского утра. Шелковый утренний ветерок, тяжелые белые апрельские облака, ароматы полей и краски далей складывались в тихую мелодию пробуждения утра. Издалека, с открытого пространства, через поля несся малиновый звон; над медным с прозеленью яблоком капитульского собора громоздились тяжелые белые облака; воробьи под кроной платана беспокойно и громко чирикали, предвещая дождь.

Перед Филиппом лежал в утреннем покое капитул, резиденция горнепаннонского и иллирского епископа, знаменитая крепость шестнадцатого века, воздвигнутая для борьбы с турками на границе посавских топей и болот, город детства и ранней юности Филиппа, где он не был столько лет и где нынче утром ему все показалось таким знакомым и в то же время таким чужим, словно

он давно умер и сквозь пелену непостижимых далей видит забытые очертания мертвых вещей и дел. По бульвару вдоль платанов, окруженных красными и желтыми тюльпанами, неторопливо тащилась телега мясника, груженная кровавыми говяжьими тушами; синеватая телячья нога билась о спицы, и, казалось, колесо обязательно ее сломает. Загипнотизированный этой ободранной телячьей ногой, Филипп, шагая за телегой, миновал мост, прошел вдоль обросших мхом серых оград и очутился на Фратерской улице. В глубине тутовой аллеи, под крутой крышей длинного одноэтажного дома, между первым окном и бурым забором, бросалась в глаза высокая, выкрашенная в зеленый цвет дверь, наглухо закрытая железной перекладиной и висячим замком. На ней красовалась вывеска: «Королевская мелочная табачная торговля».

Давно, больше тридцати лет тому назад, тут была табачная лавка его матери, госпожи Регины, впрочем, тут и сейчас табачная лавка, как и в далекую пору его детства, когда капала из заржавевших водосточных труб вода, а в темные ночи высоко над городом жалобно курлыкали журавли. Все та же ступенька из трухлявого кирпича, тот же изглоданный крысами порог. И портьеры

на окне такие же изодранные, как тридцать лет назад, а за портьерами — сырая, темная, заплесневелая комната с прогнившими досками пола, в углу которой за железной печкой он столько раз стоял на коленях. Полумрак, Филипп на коленях, в комнате никого нет, только снаружи доносятся шаги прохожих: они идут от шелковицы к забору, потом от забора к стене и вдоль стены мимо первого окна, по мостику через канаву, в которой гниет зеленоватая вода. Филипп заглянул с деревянного мостика в канаву, полную соломы, сора и птичьего пуха, и увидел маленькое суденышко из газеты. Милый искатель приключений, кораблик уперся в кирпич, намок и вот-вот утонет. Филипп нагнулся и хотел вытащить тонущий детский кораблик из вонючей лужи (над которой провел столько часов, мечтая о путешествиях по далеким морям), но в тот же миг понял, что это слишком глупо, да так и застыл перед лавкой, всматриваясь в грязные разводы на мутных стеклах.

Сразу же за стеной стоял овальный полированный стол матери, на нем — альбом красного бархата с фотографиями. Дорогой бархатный альбом, окованный золоченой жестью, на обложке — герольд в рыцарских доспехах, с трубой; через трубу переброшен штандарт с изобра-

жением двух широко распростерших крылья огромных орлов. Выцветший бархатный альбом с трубачом-рыцарем был одной из таинственных святынь, к которой запрещалось прикасаться. Святотатство наказывалось длительным стоянием на коленях за печью, где воняло крысами. Тут же, у окна, по ту сторону облупленной серой стены, висело в раме из черного дерева прекрасное изображение обнаженной женской фигуры. Полотно было не больше тридцати сантиметров в длину. На нем проступили первые зловещие пятна плесени, и зеленовато-серый тон обнаженного тела приобрел какой-то сверхъестественный, прозрачный оттенок, отчего картина казалась уже не творением человеческих рук, а каким-то феноменом. Мать, самый загадочный феномен его детства, сиделица табачной лавки, которую все величали Региной (на самом деле она звалась Казимирой и была полькой, до конца дней плохо говорившей по-хорватски), ревниво, как реликвию, оберегала таинственную картину голой женщины в раме черного дерева, и Филиппу так и не удалось узнать, что означает эта картина и как она досталась матери. Картина мучила его годами, однако это была не единственная тайна, над которой ломал голову Филипп, сидя у

грязного окна, под разодранной шторой, прислушиваясь к завыванию ветра на чердаке.

У этого же окна Филипп сильно простудился и тяжело заболел. Это случилось в ту осеннюю ночь, когда через город гнали на войну в Трансваль бесконечные вереницы английских лошадей. Ночь была туманная, октябрьская. Слышно было, как на углу Фратерской улицы гремят копыта по деревянному настилу моста. Лошадям предстоял далекий путь через неведомые южные моря, через экватор, туда, где мерцают таинственные звезды южного полушария. Черные просмоленные суда уже поскрипывали в далеких портах в ожидании лошадей, готовясь забрать их в свое чрево и перебросить в неведомую даль, где ползают удавы и кусаются ядовитые комары. В ту ночь через город прошло бесчисленное множество лошадей, прошумел целый лес черных, хрупких, взволнованно изгибающихся ног-стеблей, похожих скорей на ноги каких-то необыкновенных подкованных птиц, чем на конские ноги. Матери дома не было. Давно уже пробило полночь на монастырской колокольне, а шествию английских лошадей не было конца: кони шли беспрерывно табун за табуном — хвосты, головы, копыта, бесконечные темные массы хвостов, шей и копыт,

поток гривастых темных тел и ржания, от которого в окнах звенели стекла, точно при раскатах грома. Встревоженный необычным грохотом, напуганный одиночеством и бессонницей, Филипп прокрался к окну, приподнял засаленную рваную штору и посмотрел на улицу, но увидел лишь конские животы и, ошарашенный непонятным мельканием черных конских крупов, голеней, бабок, копыт, задрожал от страха, потрясенный странным, неясным и величественным зрелищем. Прижав нос и лоб к холодному стеклу, он смотрел на уходящие в Южную Африку табуны; стояла уже глубокая ночь, а мать еще не вернулась. Заснул он под утро, когда монахи звонили к заутрене; матери все не было. Первое, что он увидел, когда проснулся, была пустая постель матери.

Сиделица табачной лавки Регина пришла домой около восьми, погладила Филиппа по голове и велела надеть бархатный костюм и собираться в город. Потом потрепала по щеке и сказала: «Зигмусик!» Только в знак особой милости и благосклонности мать гладила его по голове, называла настоящим именем; бархатный же костюмчик сам по себе был символом торжественных и необычных событий. В темно-синем

костюме с кружевным воротничком, манжетами и жабо Филипп казался себе необычайно нарядным и элегантным (словно средневековый сокольничий в кружевах и бархатном берете). Лавочница Регина, совершенно равнодушная к сыну, обращала главное внимание на декоративную сторону его внешности. (Этим она отличалась от соседей по дому, и в этом выражался ее социальный вызов: она-де не ровня прочей бедноте во дворе и по соседству. Ребенок Регины был всегда тщательно умыт и изысканно одет. Фантастически дурной вкус матери впоследствии был причиной яростных стычек Филиппа со сверстниками. О сыне лавочницы ходили по городу сплетни, будто его отец — епископ, и эти сплетни навсегда отравили Филиппу детство.) В город ехали в холодном нетопленом вагоне, и очень долго. Мать оставила маленького Филиппа в каком-то кафе под аркой, у витрины, за мраморным столиком; заказала ему шоколад, попросила кельнера присмотреть за мальчиком и пообещала скоро вернуться. Уже в кафе у Филиппа поднялась температура: перед глазами все плыло, отвесные линии вытягивались в бесконечные вертикали, а горизонтальные кружились около него, колеблясь и извиваясь, точно змеи.

Мать вернулась лишь после полудня… Глаза у нее были мутные, усталые, красные и опухшие от слез. Брови полиняли, лицо осунулось. И тут Филипп впервые установил, что мать напудрена, как клоун, а из-под белого слоя муки проглядывает другое лицо — жалкое, землистое, испитое. Он болтал ногами, пил третью порцию шоколада со взбитыми сливками, а мать, снова погладив его по голове, тихо, сквозь слезы, сказала, что сейчас они пойдут с визитом к одной даме и там он должен быть очень вежлив.

— Ты ведь мой хороший, маленький Зигмусик, правда?

Он — хороший, маленький Зигмусик, да еще ее? О, как все это было необыкновенно и торжественно! Он обратил внимание на то, что мать надела старинное золотое ожерелье и старинные кованые серьги, которые она хранила в красивом шелковом футляре. Филипп не помнил, чтобы он когда-либо видел их на матери. В черном тяжелого шелка платье, в старинном уборе, бледная, на лице ни кровинки, она выглядела очень элегантно.

Был теплый октябрьский день. Проходя через какой-то парк, он сорвал на лужайке три маргаритки и так с тремя согревшимися в ру-

ке и увядшими цветками вошел с матерью в высокий, закоптелый, мрачный дом с застекленной дверью. Стекла были красные и зеленые, а дверь — лакированная, блестящая и очень высокая. Мать позвонила. Филипп вошел, чувствуя в руке нитяную перчатку матери и проступающий через нее жар, Следуя по темным комнатам и коридорам, спотыкаясь о ковры и озираясь на всевозможные диковинные вещи, он понимал ясно только одно: что в доме много комнат и что все здесь необычайно высокое и большое: двери, печи, мебель, занавеси, окна. Толстые ковры, стеклянные горки, сверкающие полировкой и фарфором, натюрморты с зайцами и сернами на серебряных блюдах, тяжелые, с длинным ворсом суконные скатерти, массивные кресла взбудоражили Филиппа, и он нервно пощипывал свои маргаритки. Их приняла дама с суровым волосатым лицом и огромной, черной, как уголь, копной волос. Зубы у нее были золотые, браслеты золотые, золотой лорнет, а пальцы тоже унизаны золотыми кольцами и драгоценными перстнями. Когда она дотронулась до его подбородка костлявой рукой, Филипп почувствовал на своем пылающем лице неприятное холодное прикосновение золота. Черноволосая дама суну-

ла ему плитку шоколада и отослала в соседнюю комнату, сказав, что должна поговорить с его матерью, а он пусть тем временем поиграет с Фараоном. Фараоном оказалась сойка; она сидела в клетке из желтой меди и, когда Филипп переступил порог, встретила его сиплым, сдавленным приветствием:

— Bon jour, monsieur!

Обомлев от птичьего возгласа, Филипп, не дыша, прижался к огромному мягкому старинному креслу и почувствовал, как его пальцы постепенно увязают в обернутой станиолью тающей в руке шоколадке, он не знал, что с ней делать, так же как не знал, что делать с измятыми маргаритками (куда их бросить), и слушал, как в соседней комнате плачет мать — плачет тихо, тихо, а сойка копошилась в своей клетке, крутила вертушку, щелкала орешки, чистила клюв о блестящие прутья, и было так неуютно, душно, мрачно и жарко, все липло, как растаявший шоколад, и пахло отвратительной скрипучей сизой птицей! Bon jour, monsieur!

В ту ночь завыл, неся первый снег, ветер. Он ломал ветки, срывал штукатурку с трубы (даже крысы на чердаке притихли со страху), жеребенок соседа-пекаря сломал ногу, а Филипп всю

ночь бредил: то об английских лошадях, то о сойке, которая говорила по-французски, то о матери, что плакала где-то рядом. Потом ему причудилось, что мать — мертвая — сидит за какой-то стеклянной витриной, отражаясь в необычно ясном зеркале, а перед ней на скатерти банкноты (красно-зеленую пачку, перевязанную голубой ленточкой, на ворсистой суконной скатерти Филипп видел совершенно явственно), и сойка из соседней комнаты кричала по-французски: «Bon jour, monsieur!»

Завывание ветра в трубе, темнота, и в темноте плач матери.

Никогда Филипп на решался расспрашивать эту молчаливую женщину, но в ту ночь, почти в объятиях смерти, он задал ей совершенно естественный вопрос: почему она плачет?

Она не ответила, продолжая тихо всхлипывать.

Филипп встал и подошел к кровати матери.

— Мама! Что с тобой? Почему ты плачешь?

Стоя босиком, в длинной ночной рубашке, Филипп думал, что мать прогонит его, но случилось обратное: она сжала его руки и стала целовать их, а потом (Филипп сам не знал, как это произошло) он вдруг очутился в ее постели, чувствуя лишь,

что тело матери холодное, а слезы горячи, как ярый воск; так он лежал и плакал вместе с ней, а за окном выл ветер, срывал трубы и кружил мертвых птиц и увядшую листву. В ту ночь он тяжело заболел воспалением легких и, находясь между жизнью и смертью, провел в постели целую долгую зиму, навсегда загубив бронхи и левое легкое.

А все началось у серого, грязного окна в ту давнюю октябрьскую ночь с английскими лошадьми.

«Драма провинциальной лавочницы! Сойка, говорящая по-французски! Банкноты на скатерти и отвратительная старуха в черном парике! Что это была за драма? Что за таинственный визит в тот мрачный дворец? Где все это нынче, куда рассеялось, словно туман?»

Стоя подле грязного низкого окна, прижавшись к стеклу, так что слышно было, как за стеной тикают часы, Филипп вдруг увидел, как шевельнулась продранная занавеска и за стеклом показалась желтая, заспанная, бородатая физиономия. Он вздрогнул и, смущенный и взволнованный, зашагал к монастырской церкви. В церкви было пусто. Одна-единственная нищенка громко вздымала перед престолом божьей матери — царственной

фигуры в стиле барокко, с короной на голове и жезлом в руке, в бархатной пурпурной, расшитой золотыми лилиями мантии. В огромном храме было сыро, холодно, пахло мокрой золой и старыми тряпками. За главным алтарем, точно за театральными кулисами, валялись какие-то тряпки, доски, стремянки. Тут же были затянутые паутиной сундуки, керосиновые лампы, бутылка со скипидаром, клещи… Словом, старый заигранный реквизит, который неизвестно зачем продолжает жить. Хоругви над престолами, лики святых, мраморные ангелы, влажный полумрак и далекий птичий щебет под куполами. А вокруг церкви — скрытые травой могилы. Высокие, сводчатые стены, облезшие от дождей и ветров, с ласточкиными гнездами и воробьиным пометом, а вдоль разрушенной, поросшей барвинком кирпичной ограды старке могилы кузнецов, их жен, почтенных цеховых мастеров, господ аббатов и каноников паннонского капитула со звучными эпитафиями и средневековыми знаками их церковного сана. Под огромной гранитной плитой и сенью апсиды лежит один из графов Юксель-Краненштейгов, который прибыл сюда, на турецкую границу, верхом, в кружевах Людовика XV, а умер в этом паннооннском болоте, оставив после себя

в Костаньевце дворец в сто двадцать комнат, что вот уже двести лет стоят нежилые и нетронутые. Здесь же покоится, под уже высоким кипарисом, и аббат блаженной девы каноник Ловро, друг его матери Казимиры, о котором Филипп одно время думал, что, возможно, он его отец. А где-то там, слева от главной дорожки, высится тяжелый дубовый крест с черным овалом — поросшая травой могила личного камердинера его преосвященства епископа Сильвестра, его законного отца Филиппа Латиновича, именем которого он назвал себя по собственной воле, вопреки тому, что крестили его Сигизмундом в честь польского короля Сигизмунда и в начальной школе до поступления в гимназию все звали Сигизмундом. Отца он лишился двухлетним ребенком и, по сути дела, совсем не был уверен, помнит ли покойного живым или только по фотографиям в бархатном альбоме. Отец служил у епископа камердинером. Пригласили его в капитул будто бы по рекомендации венгерского графа, и на фотографии в альбоме матери он был в расшитой галуном графской ливрее «valet de chambre»[2], в легких лакированных туфлях и белых нитяных чулках,

[2] Примечания: 2
Слуга *(франц.)*.

затянутых под коленями богато расшитыми золотом подвязками. Бритое белое лицо с глубокими чувственными складками у рта, крепкие зубы, хладнокровно-пассивный взгляд прирожденного лакея, словом, совершенная безликость — таков был таинственный отец Филиппа, витавший над его детством подобно ужасному призраку. Покойник (Филипп помнил отца в гробу среди фиалок и бумажных кружев) засел в его сознании как трудная и мрачная загадка. И до сих пор, спустя сорок лет, Филипп не разгадал этой загадки: действительно ли под дубовым крестом лежат останки ливреи его отца, или он служил ширмой для матери, сиделицы табачной лавки, о которой немало сплетничали по городу, но которая никогда ни на один его вопрос не ответила так, чтобы он мог сделать вывод, противоречащий четким официальным документам. А по официальным документам слуга венгерского графа Филипп женился на горничной отеля Казимире (которая до того работала в разных западноевропейских столицах и говорила на нескольких европейских языках); тут, на службе у епископа, в капитуле, на десятом месяце законного брака у них родился сын, его крестили в купели той же монастырской церкви и нарекли Сигизмундом — Казимиром.

* * *

Солнце уже пробивалось сквозь кроны лип и шелковиц, когда Филипп вернулся на Фратерскую улицу. Табачная лавка была открыта, Филипп зашел и очутился перед стойкой; неприятный бородач налил ему сливовицы и хмуро, подозрительно оглядел бледного незнакомца, который с раннего утра таскается под чужими окнами. Выпив два шкалика, Филипп закурил сигарету и сел на высокую пустую бочку, впитывая в себя букет издавна и хорошо знакомых запахов.

Давние, неизменные запахи! Маленькая низкая комната затянута прядями дыма. Он обвивает тонкой вуалью все предметы: и шкаф, и плетеный короб с сайками, отовсюду струится острый, ощутимо влажный, пропитавший все помещение запах табака. Пахнет сигарами, старыми сайками, кислым черным хлебом, сливовицей, керосином и дешевым табаком, что лежит в кирпичного цвета пачках на верхней полке. Охотничья колбаса висит все на том же крюке, вбитом в наружную стенку застекленного шкафа с конопаткой и сальными свечами. Оглядывая эти старые и хорошо знакомые ему предметы, Филипп невольно понюхал пальцы — уж не

пахнут ли они мокрой губкой и не раздастся ли скрип грифеля, что тяжело и неумело елозит по влажной грифельной доске. Вдоль стойки от застекленного шкафа до короба с сайками от стены к стене висела когда-то красная портьера на медных кольцах, делившая комнату на две половины, собственно лавку и закуток, где Филипп учился писать первые буквы, а его огромная тень падала на портьеру и ползала по потолку, как страшное чудовище. Сейчас портьеры не было, но старое кресло, обитое когда-то черной кожей, а теперь покрытое, точно старая кляча, драной вонючей сермягой, все еще стояло на прежнем месте, припертое спинкой к стене. Еще тридцать лет назад внутренности кресла — ремни, пружины и клочья сухой, жесткой, колючей морской травы вылезали наружу, нынче же это был полуистлевший скелет, набитый тряпками и покрытый сермягой. И старый, облупленный полированный стол был еще здесь! С его ящиком Филипп забавлялся целых семь лет… Выдвигать ящик этого источенного шашелем стола, под политурой которого билась таинственная, полная невидимого движения жизнь, строго возбранялось. Ящик сидел очень плотно, выдвигался необычайно туго и напоминал потайную дверь; в

полутьме открывавшейся щели поблескивал остро отточенный кухонный нож. И когда Филипп смотрел на сверкающую золингеновскую сталь, ему казалось, что он переступал порог мрачной, затянутой паутиной средневековой оружейной. У мальчика захватывало дух, сердце билось под горлом от страха, что его услышит мать и в одну секунду пропадут все усилия — часто надо было затратить больше получаса, чтобы, затаив дыхание, дрожащими пальцами медленно и неслышно выдвинуть ящик.

Все стояло в этом сыром склепе на своих местах, не было лишь одной вещи — старой ширмы. Старинной английской пятистворчатой ширмы красного дерева с истлевшим шелком, вместо которого были наклеены цинкографии и литографии из иллюстрированных журналов. Английские королевы в воротниках à la Мария Стюарт, голые рабыни, сокольничий, какие-то всадники, графы, графини, охотники, олени, генералы. Чернокожие в своих лагунах — широкий простор мелководья, по рифам катятся пенистые волны, а где-то вдали мачта с реющим на ветру флагом… Филипп в белом тропическом шлеме храбро шагает с вереницей рабов по зеленому Конго; джунгли дышат, слышны крики обезьян

с деревьев…

На дворе зима. Из-под старой, обросшей мохом кровли тянутся через дорогу телефонные провода, провисшие под тяжелыми, непрерывно падающими хлопьями мокрого снега. Вот птица задела теплым крылом за провода и стряхнула снег. В незавешенную верхнюю часть застекленной двери видно, как падает снег, и лавка, точно гондола аэростата, плывет вверх со всеми своими удушливыми запахами, сигарами, портьерами и старым креслом, поднимается круто вверх и летит, а ширмы перед диваном растут и приобретают сверхъестественные размеры. Под Ледисмитом гремят пушки. Из чугунных жерл вырывается пламя, пахнет порохом, шестерик батарейных коней выбивается из сил, чтобы вытащить пушку на позицию; напряглись покрытые шерстью конские крупы, кровоточат раненые ноги, вьются черные хвосты, ноздри в кровавой пене, свист плетей, жуткие маски всадников, вспышки и дым пушечной канонады. Идет осада Ледисмита, генерал Девет на огромном вороном жеребце со своей свитой наблюдает за осадой… А на дворе идет мокрый снег и где-то с конца улицы доносится звон бубенцов — едут сани. Филипп, закутавшись в старый шерстя-

ной плед, бахрома которого, как у настоящего путешественника, свисает ниже колен, едет на своем стуле, смотрит на графских конюшенных и сокольничих, на княгинь и королев и на то, как в сгущающихся сумерках постепенно исчезают призраки в рыцарских доспехах… Время от времени у наружной двери дребезжит колокольчик и заходит, сбивая снег с сапог, извозчик купить сайку, выпить чекушку виноградной водки, либо забегает прислуга за виргинией для господина доктора; пахнет табаком, ракией, а над головой чернокожего юноши в белом тюрбане тлеет голубоватый огонек на тот случай, если кому-либо из уважаемых господ, постоянных клиентов, вздумается тут же задымить сигарой.

Иллюстрации на пыльных ширмах были, собственно, единственными настоящими картинами из всех, какие он когда-либо в своей жизни видел. Став впоследствии художником и занимаясь теорией живописи, Филипп много писал и читал о проблемах и технике мастерства и все-таки, пусть смутно и больше подсознательно, чувствовал, что настоящая живопись должна говорить так же много, как много говорили ему когда-то серенькие разлохмаченные клочья литографий в сумерках вонючей комнаты. Никто

и никогда ни на одной картине не умирал так трагически, как умирал здесь, в этой табачной лавке, в желтоватом свете коптящей керосиновой лампы польский король Пршемислав с гербом льва на панцире. Прыжок тигра, необычная красота бронзовых спин черных ловцов жемчуга, косматая львиная голова, батареи буров под Ледисмитом, маршалы, кони, молодые чарующие красавицы… воображение кипело, подобно зеленоватому яду в реторте чародея, и это самоуглубление, непрерывные грезы и привели его к злосчастной оторванности от действительности. Так, с самого детства он отбился от настоящей жизни и вот уже тридцать лет ищет ее и не может отыскать.

Перед лавкой остановился экипаж. Вошел извозчик, чтобы выпить ракии. Хриплый голос и громкий топот сапог извозчика вырвали Филиппа из плена воспоминаний, он вздрогнул и точно проснулся. За окном сверкало апрельское утро, лаяли собаки и слышно было, как весело и задористо кукарекает на той стороне улицы петух. Заплатив за сливовицу, Филипп пошел к бульвару, который тянулся вдоль стен старой крепости, ощущая теплоту солнца и запах влажного дыма.

* * *

Кафе под платанами уже открылось. Накануне здесь был благотворительный вечер; пахло пролитым вином и прокисшей едой. Горбатая старуха, вздымая тучи пыли и сердито ворча, подметала скомканные конфетные бумажки, обрывки серпантина, кости, остатки пищи, окурки. Филипп заказал стакан молока. Отщипывая кончиками пальцев сырую, размякшую, тошнотворно-сладкую мякоть уже третьего рогалика, он рассеянно жевал его без всякого аппетита и желания и бездумна смотрел в окно и видел деревья, тюльпаны, запачканную кровью телегу мясника, которая уже порожняком катила вдоль монастырской ограды, видел серое, нахмуренное лицо горбуньи, ее огрубелые, точно из слоновой кожи щеки, уродливо комические движения, всю ее горестную фигуру, и терялся в деталях, не в силах за деталями уловить главное.

Вокруг одни детали: размокший рогалик, чириканье воробьев, старая ведьма, поднимающая пыль, раннее утро, ломота в пальцах и затылке, усталость в руках, в мыслях — во всем. Одни детали и какое-то несказанно тяжкое и непонятное утомление. Филипп уже давно замечал, что его

глаз воспринимает только детали; исключение составляли самые тяжелые дни войны, когда все рушилось и когда ощущалось лишь чрезмерное скопление слепых масс и то, что человек сам по себе ничтожная частица этих масс, именно в те мрачные и трудные дни одиночества Филиппу удавалось, позабыв о собственном существовании, воспринимать явления в целом… А в последнее время в душе Филиппа снова нарастало смятение, и оно становилось все нестерпимей.

Краски, например, этот живой источник самых сильных его эмоций, начали тускнеть; если раньше они представлялись Филиппу живыми струями водопада или голосами разных инструментов, то в последнее время жизненная сила красок постепенно блекла, и ему казалось, что краски уже не оживляют предметы, что это уже не покров, окутывающий жизненные явления, а их бледный контур, подобный контурам для акварелей в детских альбомах, лишенный взаимосвязи, живописной инструментовки, вдохновения, содержания. Если раньше краски говорили ему о состоянии предмета, о его освещении, то теперь они превращались в какое-то беспокойное метание по серым улицам дымных городов окрашенных плоскостей: горизонталь-

ная кобальтовая плита трамвайного вагона; темно-желтое пятно полотняной блузы регулировщика; светло-зеленая рубаха прохожего, светлый аквамарин Тихого океана на огромной географический карте в витрине книжного магазина. Кобальт, сиена, светло-зеленая в сочетании с быстро вертящейся грязно-серой автомобильной шиной, в сочетании со светло-розовой — bois de rose — тканью на теле молодой девушки или темно-зеленым драпри в битком набитой полированной мебелью витрине, — все эти краски в их непонятном движении не впечатляли, они были мертвы, бессмысленны, предельно опустошены, лишены эмоционального заряда, ничтожны и выхолощены.

По улицам проплывают люди, мелькает множество лиц — напудренные, бледные, клоунские, с резко очерченными ярким кармином губами, близорукие личины женщин в трауре, лица горбунов, нижние челюсти, длинные восковые пальцы с синими ногтями — все уродливое и безобразное. Отталкивающие лица, звериные морды с печатью порока, блуда, злобы и озабоченности, лоснящиеся и разгоряченные, хари кирпичные, черные, зубищи твердые, острые, хищные — все серое, как на негативе.

Сидит Филипп в кафе за грязной витриной, смотрит на движущуюся по улице толпу и думает о своем последнем колористическом впечатлении. Это было полтора года назад в небольшом южном средневековом городке, в пору золотой осени, когда его нервы были еще не в таком расстроенном состоянии, как этой весной. Стояла на диво мягкая, тихая, теплая осень, и все — и коричневое дерево в каменном дворе монастыря (совсем бурое, словно вытертая парча), и мраморный рыцарь в доспехах на бронзовой плите, и три восковых свечи перед иконой в позолоченном окладе, и красная, сепией выкрашенная и дождем умытая церковь в темноте, — все это вместе взятое было золотистым богомраком сумерек, исполненным света благословенного вдохновения. В квадрате мраморного пола церкви догорала восковая свеча; трепетное пламя ее последних вспышек широкими меркнущими кругами затухало в глубине церкви подобно вспышкам гаснущего факела и вместе с отсветами золота на проповедных кафедрах и отзвуками шлепающих сандалий монахов по мраморному полу безлюдного храма создавало удивительно сокровенную, призрачную гармонию… Филиппу казалось, будто он вошел в светло-зеленый

мир новой, еще не просохшей картины. Стоя в пустынной церкви, он вскинул обе руки, повинуясь зову души, взволнованной и восхищенной богатством невиданной палитры, которая вдруг открылась перед ним, точно кованая шкатулка с драгоценностями. В это мгновение экзальтации он походил на загадочную дельфийскую статую с массивными, вделанными в мрамор пола ногами и воздетыми к небу руками; он весь дрожал от вдохновения, которое представлялось таким близким; обмакни кисть и пиши. И в предчувствии нового творения — плода восторженного овладения новыми формами и изобразительными возможностями — вся та осень прошла для него счастливо и была ласкова, как теплая женская ладонь. Черные алебарды заводских труб, базальтовые портики с мраморными колоннами и видом на тихие зеленые зеркала альпийских озер, влажные леса с осенними запахами и покрытые мглою горные массивы ледников — все уже казалось претворенным! Теплое мерцание последних зрелых осенних полдней над старыми городскими кровлями, мраморные столики тихих горных кафе, давно забытые горести бесплодных терзаний — все казалось преодоленным, сверкающим и таким созревшим, что

Филипп чувствовал себя гораздо ближе к горным туманам, рыбам в воде и красным яблокам в садах, чем к чему-либо человеческому в себе и вокруг. С тех пор прошло уже много времени, а он так ничего и не написал; после тех двух-трех счастливых осенних дней он давно уже не встречал в жизни ничего стоящего: слонялся по кафе, жил среди двуногих, которые ходят с зонтами, а если говорят, то лишь о чем-то насущном (о хлебе или мясе), двигая челюстями с искусственными зубами, и все кругом было бесплодно и не имело никакого морального оправдания.

Сидит Филипп в кафе и смотрит на проходящих по улицам людей и думает о том, до чего, в сущности, странно и загадочно движение толпы. Идут люди и несут в темноте своих утроб вареные куриные головы, печальные птичьи глаза, коровьи огузки, лошадиные окорока, вчера еще эти животные весело помахивали хвостами, куры квохтали по птичникам, а все кончилось человеческой утробой, и это движение и поглощение в двух словах можно назвать так: жизнь в западноевропейских городах на закате старой цивилизации.

Руки! Посмотреть хотя бы на лес человеческих рук, движущихся по городским улицам! Они ре-

жут, пускают кровь другим животным, создают машины, колют иглами, держат раскаленные утюги, фонари, флаги, бритвы, инструменты; люди проносят руки по улицам и не знают, куда их деть! Они снимают фетровые шляпы, размахивают палками, носят различные предметы, сигареты, книги, жмут друг друга, подчиняясь животному магнетизму. Теплые человеческие руки, потные, шершавые, раненые, вымытые, накрашенные, механически покачиваются размеренными амплитудами в такт движениям тела, словно они его украшение, и так движутся вместе с людьми в долгом, бесцельном потоке, что течет и бурлит среди городских стен. Люди тащат за собой свои руки, свои долги, свои гнилые зубы и заботы, своих жен и детей, свои усталые ноги и нездоровое бренное тело, они покачивают бедрами, двигают конечностями, открывают рот, говорят, кричат, а иногда с их уст срывается смех. Много еще осталось в человеческом облике от первобытной кровожадности, и неожиданный смех, что порой раздается то тут, то там, звенит, как серебряный колокольчик, над мраком, потому что лица у большинства людей усталые и застывшие, точно из дерева, а не из живой плоти. Странно выглядят эти застывшие и жестокие,

будто долотом вытесанные лица, а цепочки, платья и меха висят на людях, как ненужные украшения, и движутся вместе с юбками, космами и волосами, очками и глазами в странном запутанном круговороте. Близорукие, усталые, злобные и главное — ленивые! Ленивые, серые и скучные, как это задымленное пастельное небо над крышами, как грязный свинцово-серый цвет чернильных отражений в стеклах закрытых окон.

Смотрит Филипп из кафе на уличное движение и думает о том, как всю эту суету перенести на полотно: и копыта на асфальте, и скрип осей тяжелых колес, и громыханье металла по граниту мостовой и рельсам. Как все это остановить в какой-то точке движения и зафиксировать с высшей степенью объективности? Но тут же он чувствует свое бессилие и, подавленный массой впечатлений, пассивно отступает, ощущая все свое ничтожество и беспомощность. И в самом деле: как можно изобразить запахи опилок, бензина, масла, пыли, дыма, табака, глицерина и автомобильных шин, изобразить шум и кашлянье, мимолетные, недоступные для понимания мгновенья полутишины, когда не слышно ни гудка резиновой груши, ни звона трамвайного

гонга, когда весь город словно застыл, прислушиваясь к шарканью паралитика, который волочит свой мертвый башмак по асфальту, и слышно в это мгновение только одно — как паралитик волочит по тротуару свой худой башмак.

Чрезмерная острота слуха в последнее время очень мешала Филиппу; он давно уже мучился над тем, чтобы как-то выделять звуковые комплексы из своих художнических замыслов. Акустические мотивы все чаще и чаще препятствовали его работе, и Филиппу казалось, что он смог бы снова писать, если бы потерял слух. Обычно в картину, которая время от времени слагалась в его воображении, внезапно врывалась звуковая тема, и в тот же миг рвалась художественная канва, звуки вызывали новые ассоциации, и Филипп снова погружался в бесплодные поиски, точно хищная птица, от которой ускользнула добыча. Неожиданно услыхав звук, Филипп уносился подобно порыву ветра и витал в просторах, уходивших в мрачную пустоту. Годами неподвижно сидя у окон кафе, грызя ноготь указательного пальца на левой руке, он ломал себе голову над кардинальным вопросом: нужно ли вообще писать, и если безусловно нужно, то как?

Вот идут по улицам и растворяются в сумерках

толпы горожан — живопись им совершенно не нужна. Для чего им картины? Звякают шпоры, алеют бумажные розы на платьях женщин, женские груди колышутся под белым полотном, точно восковые шары, голоса едва слышны — люди проходят, разговаривая, он подслушивает их разговоры, подслушивает уже много лет и ни разу еще не слышал, чтобы хоть кто-то из прохожих говорил о живописи. Беды свои несут эти людоедские, грубые, жилистые лица, и не живопись их волнует, а их собственные беды. Движутся люди, точно восковые куклы, чешут себе затылки, жуют табак, а за ними все дымится — сигары, тело, тоска. Каждый человек тащит с собой бессчетные круги своего бытия, тащит свою теплую утробу и чужие теплые утробы, из которых вышел, как гусеница, и сейчас ползет, прокладывая себе путь своим ядовитым жалом, кусая и жаля, и ест, и жрет, и его жрут, запрягли и бьют кнутовищем по голове, и все движется кругами борьбы, голода и страха, и всему этому живопись чужда и не нужна.

Во взгляде каждого человека таится тоска, та самая, с какой смотрят звери из клетки, движения людей судорожны и напоминают повадки гиены, ведь все за решетками, все посажены в

клетки, а в клетках живопись совершенно ненужна! Каким образом можно остановить уличный поток и рассказать людям о жизни средствами художника? Женщины носят янтарные ожерелья и туфли из змеиной кожи на пестрых каблуках, глаза у них синие, точно весенние воды. Мысли женщин заняты мехами, шелковыми чулками, а не картинами. Тащатся по улицам закованные в цепи люди, мелькают спицы в колесах, стучат копыта, лица прохожих, как у жаб, как у марионеток, серые, пьяные, все они усталые, хмельные, невыспавшиеся, а один вон поднял высоко палку с серебряным набалдашником и идет, точно полковой капельмейстер перед духовым оркестром, да с таким видом, будто знает, куда идет! Вот бы написать этакого шагающего впереди толпы дурака-прохожего в котелке и с тростью! Главное здесь то, что он похож на полкового капельмейстера и что ему ясно, куда идет и он и толпа, а вместе с ними и все мироздание, пульс которого бьется так же непогрешимо, как заведенный часовой механизм в металлическом корпусе в кармане дурака-прохожего. Погружаясь в хаос странных и мимолетных впечатлений, Филипп и сам сознавал, что смотрит на мир уже не глазами живописца, что его наблюдения вы-

ливаются в анализ пустяковых деталей, однако этот процесс распада художественного мышления, беспрестанные отклонения в сторону, развивался в нем все активнее и неотвратимей. Один несет в руке дыню, другой курит трубку; женщина подмаргивает, как выдра, и наверняка сегодня же ночью поймает рыбку в мутной воде; а этот точно сошел с тирольской картинки — на нем короткие штаны из оленьей кожи и в руках гармоника. Грызуны, термиты, мелкие, желтые, близорукие муравьи-канцеляристы в грязных целлулоидовых воротничках, отравляющие друг друга ядовитой кислотой в вонючих, непроветриваемых комнатах, где плачут газовые рожки; налитые пивом животы, мелькающие спицы велосипеда, женщина с прической, как у египетской мумии, все эти сонно-голодный оскалы и взгляды, уродливость, убожество плоти, заурядная глупость — все это проплывало перед Филиппом бесцветной, серой, непонятной и мрачной чередой. И душевный разлад становился все тягостней и безысходнее.

Так ему вдруг вспомнился давно забытый запах грязной волчьей клетки в плохоньком, обшарпанном зверинце провинциального паннонского предместья… Шел дождь. Укротительница зве-

рей в алом гусарском доломане гладила толстую сонную змею, лежавшую под полосатой розовой периной, и было слышно, как барабанят дождевые капли по зеленому брезенту балагана и где-то поет железный желоб. В калейдоскопе последних лет, в дыму заплеванных трактиров и залитых вином столиков, в безлюдных аллеях парков, в бессмысленном утреннем перезвоне далеких колоколов, в череде тяжелых бессонных ночей повеявший вдруг волчий запах грязного, жалкого зверинца явился тем горестным всхлипом, той каплей яда, который еще больше отравил настроение. Воспоминание об этом отвратительном зверином запахе, залившем полутемное пространство под зеленоватым влажным брезентом, где и без того пахло удушающим смрадом карбидки и мокрыми опилками, заставило Филиппа содрогнуться, полушарья его мозга пронзила острая боль, он схватился за голову. Из такого состояния он спасался только алкоголем. Выпить и забыться.

И вот он уже сидит где-нибудь в предместье и второй день пьет. В кафе полумрак, а у газовой печки на диване дремлет, мурлыча, черный кот. Кафе помещается под мостом, в окно сквозь сетку теплого весеннего дождя видно, как под

темной аркой каменного моста движется убогая еврейская похоронная процессия: деревянная урна на крыше погребального катафалка смешно подпрыгивает над черным гробом, у раввина черная, курчавая, библейская, ассирийская борода. Над траурным шествием длинных, измятых лапсердаков и черных зонтов полощется на ветру пастельно-голубое полотнище рекламы стерилизованного молока, изображающей грудного младенца сверхъестественных размеров с вытаращенными водянистыми глазами; голубое полотнище растянуто поперек улицы с красными кирпичными домами, кабачками, лавчонками ветошников и с этой жалкой еврейской процессией и забытым волчьим запахом (тяжелый дух тухлого, почерневшего мяса на жестяной тарелке в углу клетки) — все эти картины стоят перед Филиппом как отдельные живые детали, без всякой объединяющей их внутренней связи, которая только и могла придать им какой-то смысл и целостность. Он чувствовал эту связующую силу в минуты опьянения, однако неприятная особенность его неврастении заключалась именно в том, что после каждого запоя на душе становилось еще безотрадней и опустошеннее. Жизнь Филиппа дробилась на составные части; объек-

ты сознания разлагались на элементы; жизнь его, потеряв цель, уже долгое время сама собой катилась под уклон. Врожденное предрасположение к разрушению всего, что попадало под руки или на глаза, постепенно превращалось у него в навязчивую идею, которая все упорней, изо дня в день преследовала его: собственная жизнь в представлении Филиппа с каждым днем теряла всякий смысл. Оторвавшись от всякой почвы, его жизнь стала превращаться в фантом, лишенный прав существования, и это тянулось уже довольно долго, отчего жить становилось все труднее и утомительней.

* * *

Филипп жил в шестиэтажном доме, где все насквозь провоняло гусиным жиром, газовыми рожками и детскими пеленками, а жалкий лифт напоминал стеклянный катафалк на второразрядных похоронах — лакированный черный ящик, обитый темным вытертым плисом. Стоять у окна и бездумно смотреть в дымные сумерки, смотреть, как больные дети с завязанным горлом дни напролет перерисовывают глупые картинки на оконных стеклах, — в этом состояла жизнь Филиппа последние два-три года. До чего же мрачно

жилье человека — настоящее вонючее логово! А дети, замотанные во фланелевые тряпки, в дождливую погоду рисуют глупые картинки, неутомимо поднимая высоко над головой руки. Трубы, крыши и густая пелена копоти, повисшая над мрачными стенами; оседая, она оставляет темные, точно клопиные, следы. А дым ползет над крышами — желтовато-сизый и грязный, как голодный деревенский пес, тяжелый, как куль цемента, и мутно-зеленый, как вода в болоте. Каски закоптелых труб, плектроны трамвайных лир, мокрые, темно-серые, склизкие улицы, полумрак. Филипп стоит у окна и размышляет о том, как глупо и бессмысленно нагромождать в одном месте все эти коксовые печи, колонки, газометры и прочие грязные, как отхожие места, орудия техники! Все эти кучи мусора, товаров и промышленного сырья следовало бы отделить от жилищ. Журчат водосточные трубы, плачут краны и газовые рожки, дребезжат телефоны, поют медные провода над крышами, хлопают двери, играют инструменты, лают собаки, а где-то в стене однотонно, размеренно капают капли, точно отсчитывают время. Песня капель, отзвук шагов в неосвещенных коридорах, глухие голоса где-то внутри шестиэтажного дома, рыдание

негритянской пластинки сливались в дьявольскую какофонию и заставляли дрожать каждый нерв. Филипп переставал понимать, что происходит вокруг и почему у него нет сил вырваться из этого ада и начать новую жизнь.

Пасмурный февраль. В тучах сажи и дыма под ногами Филиппа раскинулся огромный, закоптелый город, та самая пресловутая Европа, золотой телец, благословенная земля с голубыми теплыми бухтами на юге, где зреют апельсины, и со страшными закоптелыми крепостями на севере, где дети болеют ангиной, по мокрым панелям бродят золотушные девицы и где так жалко выглядят бюсты Гигиен[3] в пыльных витринах аптек.

Прозрачны и бессмысленны схемы, которыми люди путаются отгородиться от жизненной правды и подлинной действительности. Все, в сущности, лишь детская забава — религия, рождественские побасенки, идиллия, культивирующая чистейшую ложь, сквозь которую проглядывает коммерция: покупайте маргарин, шоколад, апельсины, ваниль, сукно, резину! Люди выдумали обои, ковры, паркет, отопление

---

[3] Примечания: 3

В греческой мифологии богиня здоровья, дочь Эскулапа.

горячей водой, застекленные двери, обставили свои квартиры аквариумами с золотыми рыбками, кактусами и целыми стеллажами книг, которых никто не читает. Люди забили свои дома китайской майоликой, акварелями, дамасскими скатертями, шелковыми чулками, мехами и драгоценностями. Люди, подобно древним жителям Востока, покрывают лаком ногти, купаются в мраморных ваннах, ездят в отапливаемых экипажах, пьют целебные ликеры, но не имеют, собственно, никакого понятия о том, какова реальная жизнь и как следовало бы жить.

В последнее время Филиппу все чаще, все настойчивей приходила в голову мысль вырваться из этого чада и вони и уехать домой, в Паннонию, где он так давно не был. Провести у матери на костаньевецком винограднике осень — плодоносную, спокойную, щедрую.

Темное чернильное небо, призрачный месяц, теплая ночь, далекий мерцающий огонек в долине; черные, взвихренные кроны дубов на распутьях, мерцающие звездные нити за пятнами тумана и редкий одинокий выстрел на далеком винограднике, отзвук которого долго катится по полям и оврагам и замирает, подобно далекому громыханию во рву у мельницы. А в

поле тишина. Лишь слышно порой, как зашелестит кукурузный лист, будто накрахмаленная исподница женщины, задевшей за перелаз. Текут грязные паннонские воды, клокочут под мостами, а у тополя висит распятье из жести под деревянной кровелькой с бумажными цветами в стеклянном ящичке, точно в стеклянном гробу; там весь вечер плакала гармоника слепого, а сейчас тихо и никого нет. Спит Паннония, и нет ни чада, ни сутолоки, ни нервов. Здесь ночи тихи, как погасшая трубка: без дыма, без копоти. По ночам лишь бродят вдоль плетней, поджав хвосты, выгнув спины и опираясь всей тяжестью на передние лапы, готовые к прыжку собаки с горящими глазами, эти любители заборов и канав, блуждающие в лабиринте запахов и свежих следов: тут дух опанка, там сгнившая кость, здесь забор, а за ним молодая утка в птичнике.

Филипп долго терзался в городском чаду, пока однажды ночью не понял, что пришло время собираться в дорогу, над закоптелым вокзалом в облаках пара и дыма светился квадрат часов; черные стрелки на темно-оранжевом стеклянном циферблате пробудили в Филиппе ощущение времени, он почувствовал, как оно уходит и как было бы хорошо скорее уехать. Он уехал и вот

теперь сидит в капитульском кафе, вокруг него вьются, подобно дыму сигареты, усталые думы о бренности человека в сравнении с пространством и временем, о том, как непостижимо огромен мир рядом с таким эфемерным явлением, как субъект, и с такими совершенно ничтожными, несуществующими вне субъекта деталями, которые составляют область сознания этого субъекта, который, в свою очередь, тоже не что иное, как деталь в ряду деталей, а все вместе — тоскливое и утомительное бесконечное движение.

Где доказательства неизменности нашего «я»? Разве «мы» всегда неизменное, постоянное «мы»? Где та мера, которой все это можно измерить? Разве он не уехал окончательно и бесповоротно из этого грязного болота после того, как одиннадцать лет тому назад последний раз сидел в этом вонючем кафе, ожидая поезда? Тогда возле него на стуле лежал перевязанный веревочкой и завернутый в газету сверток с сорочкой и зубной щеткой. И сорочка та давно истлела, и зубная щетка давно вылезла, и весь организм давно и полностью переменился — так как же, по каким признакам можно доказать, что он тот же самый человек, который одиннадцать лет назад сидел здесь и, нервно вздрагивая, ждал той минуты,

когда все это останется позади?

Имя и фамилия, привязанные к определенной личности, лишь внешние и самые поверхностные ее приметы! Условные и мелкие бытовые признаки! Каким образам можно уверить «себя» с известной, не вызывающей сомнений гарантией, что на самом деле оцениваешь «себя»? По чертам лица? Но они полностью изменились! По жестам? Но сейчас это жесты совсем другого человека! По неразрывности развития организма? Но ведь в нем не осталось ни одного атома из тех, что были одиннадцать лет назад.

У противоположной стены прямо перед Филиппом стояло огромное зеркало в золоченой раме, по его сторонам на золоченых консолях две кариатиды держали на голове золоченые эллинские вазы с зелеными павлиньими перьями и пальмовыми ветками. На тусклой амальгаме захватанного зеркала отражалась перспектива всего зала: два зеленых параллелограмма бильярдных столов, горбатая уборщица, выметающая продырявленные лотерейные билеты, серпантин и конфетти, плешивый подмастерье пекаря, отсчитывающий на мраморном круге столика сдобу на поднос заспанной кельнерши. А на переднем плане, прямо перед мутным и серым стеклом окна, сидит

и смотрит в зал бледный, невыспавшийся, усталый мужчина с проседью в волосах, с глубоко, ввалившимися глазами и горящей сигаретой во рту. Возбужденный, издерганный, он пьет теплое молоко и размышляет об идентичности своего «я». Он сомневается в идентичности своего «я». Он сомневается в идентичности своего существования, а приехал он утром, и здесь, в этом кафе, не был уже одиннадцать лет.

Странно! Сидит эдакий, нерожденный «некто» в зеркале, называет себя «собою», годами носит в себе это свое смутное и неясное «я», курит, а курить ему противно, мучительно сжимается сердце, болит голова, в глазах рябит, все кружится, мутится разум, двоятся мысли, и все так условно, так неопределенно и до странности неустойчиво: быть субъектом и в то же время ощущать свою идентичность этому субъекту.

Заметив совершенно непроизвольно, что бледный, незнакомый человек курит и что во рту у него уже пятидесятая сигарета за эту ночь, Филипп протянул руку к прилипшему к губе дымящемуся окурку, бросил его в пепельницу и только тут почувствовал, что никотин подступает к горлу липкой смолой, а язык пересох от вонючего отвратительного налета. Отхлебнув мо-

лока, он снова погрузился в хаос противоречивых мыслей, возникавших наперекор его ипохондрии (как бы противодействуя другой половине его существа), и глотнул свежего воздуха, который, подобно дыханию весеннего утра, пронесся мощной волной сквозь густое облако дыма, запахи разлитого вина и паркетной мастики.

В самом деле! Идентичность нельзя установить по чертам лица, мимике или каким-либо другим внешним приметам. Лицо, мимика, движения Филиппа вовсе не те, что одиннадцать лет назад, и все-таки неразрывность его «я» существует, пусть где-то глубоко, скрытно и неясно, но несомненно!

Воробьи на старом орехе во дворе, Каролинин Teppichklopfer, вонь табачной лавки на Фратерской улице, истлевшая камердинерская ливрея на монастырском кладбище, затонувший кораблик из газетной бумаги в канаве под низким серым окном, откуда он смотрел на английских лошадей, — все это ему знакомо. Непостижимая идентичность его «я» живет и сейчас, под английским сукном, так сказать, в наружной оправе человека; слышно, как тикают его часы под складками жилета, под кожей, в беспокойных трепетных пальцах (в которых отдается каждый

удар сердца и подушечки которых ощущают холодное прикосновение мраморного столика). В этом буйном сплетении, в тонкой сети прозрачных взаимосвязей, в непостижимой плоти этого состояния где-то глубоко зарытая, тайно запрятанная, пульсирует и бьется его идентичность, и это не фантом, а плоть, кафе, стакан молока, реальное утро и реальное возвращение. Тело его излучает тепло и нагревает одежду, прохладу воды он чувствует на эмали зубов и каплю, стекающую со стакана, — у себя на ладони, и ему это приятно. Часы тикают в жилете, в механизме разматывается пружина, он пьет теплое молоко и чувствует на груди мягкую парижскую сорочку.

Многое в корне изменилось здесь за последние одиннадцать лет. В последний раз, когда он сидел в этом неуютном кафе, его обстоятельства были гораздо более плачевны, чем сегодня. Тогда, снова и окончательно рассорившись с матерью, он уезжал в неизвестность, голодный, в залатанном костюме, по-юношески глупый и неискушенный, в сущности, сам не знавший, чего хочет. Конечно, сейчас в нем уже нет его прежнего «я»! В зеркале на него смотрел совсем другой человек — вместо ободранного, испитого, чахоточного и чрезмерно самоуверенного молодого искателя приклю-

чений сидит седоватый, холеный господин в костюме английского сукна, один из тех, кто ездит в спальных вагонах и кого на вокзалах в камере хранения ждет багаж — чемоданы свиной кожи в замшевых чехлах. Но между этими двумя индивидами: пьяным чахоточным юношей с одной сорочкой и зубной щеткой и этим господином, в бумажнике которого лежит рентгеновский снимок левого легкого (сделанный в дорогом южношвейцарском санатории), все-таки есть невидимый мост, и этот мост — окружающая природа и обстановка: зеркало в позолоченной раме; две кариатиды с павлиньими перьями, грязная паннонская дыра, унылая перспектива монастырских тюльпанов, клетка с белкой в колесе под фонарем, кафе, печальный монастырский колокол, давно и бесплодно плачущий над пустыми чердаками и трубами. Сегодня утром он вернулся к своему старому недописанному пейзажу, к старым заботам и тревогам, и отсюда в нем эта печаль и подавленность, словно он проснулся в своей собственной могиле.

Перед кафе, под древними стенами царской крепости, зацвели первые каштаны. Кирпичи крепостной стены розовели в густой траве земляного вала — единственные свидетели былой

славы старой крепости, которой поэты всей Европы посвящали некогда гекзаметры как одному из краеугольных камней западной культуры. Градоначальник и староста пожарной команды разбили возле музыкального павильона клумбы и посадили фиалки; на доме башмачника Болтека во всю стену под карнизом красовались огромные заглавные буквы «HUMANUS». Трехэтажный дом адвоката д-ра Зиебеншейна с нюрнбергским эркером на углу был по-прежнему единственным трехэтажным зданием на той стороне улицы, где обычно прогуливаются горожане. Фратерская улица переходит в грязную дорогу, ведущую в Краводер и Биково, на Бишкупец, и дальше через Лисьяк, Яму и Турчиново в село Костаньевец, куда он держит путь, чтобы повидаться со своей матерью, бывшей сиделицей табачной лавки, госпожой Региной, у которой в селе Костаньевец двухэтажный дом и виноградник и которая уже несколько лет звала его в своих однообразных письмах. Наконец Филипп собрался и теперь вот сидит под этим страшным зеркалом и ждет извозчика, чувствуя, что все это ненужно, утомительно и печально. А всего печальнее вон та мраморная женщина, согнувшаяся над вазой под платаном, точно надгробным монумент, а

ведь это Статуя Победы, возлагающей пальмовую ветвь на пирамиду «Великой эпохи 1914—1918»! Кто-то сострогал долотом с бетонного постамента надпись «Великая эпоха», и сейчас Победа в траурном крепе грустит без патетической надписи. Когда открывали памятник, Филипп стоял по стойке «смирно» в шеренге почетного караула, стянутый ремнем и патронными сумками, обхватив пятерней окованный дубовый приклад с такой силой, что немели пальцы, и слушал, как какой-то господин во фраке и с зонтиком что-то говорил в духе известных пожунских высказываний Марии-Терезии[4] и как глухо, точно дырявый, бил барабан.

Глядя на мраморную статую согбенной женщины, очень слабую, дилетантскую, поздне-сецессионистскую работу, Филипп размышлял о бесплодности любого конъюнктурного искусства, а особенно ваяния, о том, что наглядным тому примером служат провинциальные скверы с их постаментами различных памятников, воздвигнутых когда-то в честь громкой эпохи и

[4] Примечания: 4

Имеются в виду неоднократные высказывания австрийской императрицы на саборах в Пожуне (ныне Братислава), в которых она признавала заслуги хорватского и словенского народов в войне за австрийское наследство (1740—1748 гг.), а также в семилетней войне (1756—1763 гг.).

ныне ниспровергнутых, с них содрано все, что казалось величественным, и сохранились лишь жалкие и бездарные статуи (в создании которых больше участвовала мокрая губка скульптора, чем его руки), обычная кустарная поделка! На все эти памятники и статуи, на всех этих орлов с их ненасытным, назойливо-воинственным бряцанием бронзы надо смотреть, вернувшись мысленно на десять — пятнадцать лет назад. Какой небольшой срок, а как изменился взгляд на вещи! И человек, туго опоясанный патронташем, нынче уже не помнит, что было на открытии памятника, кроме того, что шел дождь и барабан гудел, точно дырявый. Все поглотил тяжелый, густой, серый паннонский туман.

* * *

Извозчиков, как обычно бывает в подобных случаях, конечно, не было. Один повез господина землемера на комиссию, в маленькой, светло-зеленой светелке другого Филипп застал возле горящей печки лишь беззубую ветхую старуху. Жуя рогалик, размоченный в красной пол-литровой кружке кофе, она сообщила, что хозяин вернется после обеда, но когда именно, сказать затрудняется. Оставалась еще одна возможность:

вызвать телеграммой из Костеньевца экипаж и переночевать в капитульской гостинице.

Усталый, невыспавшийся, раздраженный длительным, двухдневным, путешествием, в ужасе от перспективы провести ночь в отвратительном клоповнике, Филипп, глубоко подавленный, желая поскорее вырваться из этого медвежьего угла, бродил по серым крутым улочкам по соседству с бульваром, смотрел на закрытые сараи, навозные кучи, стога сена и сушилки с кукурузными початками и чувствовал себя потерянным в этой шумной утренней идиллии и бессильным принять какое-либо решение. С другой стороны улицы доносился звон наковальни: во дворе кузницы подковывали тучную кобылу, сытую, раскормленную, норовистую, с синими лентами в гриве. Звякали подковы, пахло углем и горелым рогом.

Тут же стоял какой-то желтый экипаж: кажется, представлялась оказия! Это был епископский кучер, Йожа Подравец, который привез вечером из прихода домоправительницу пречестного отца на венский скорый и теперь возвращался с мешком цемента обратно в Бишкупец.

После долгих переговоров Йожа Подравец согласился довезти господина до Бишкупца, и

«ежели, промежду прочим, господину угодно, то он, Йожа, готов его отвезти не только до Бишкупца, но и до Костаньевца, до которого напрямик через турчинские левады рукой подать: можно сказать, около двух часов езды». Договорившись окончательно, он подковал Мицу, и они двинулись к Ловингеру за мешком цемента и жестяным баком, а потом на вокзал за чемоданами, Филипп уселся поверх мешка с цементом и своих огромных чемоданов, уложенных на и без того высокое мягкое сиденье пролетки, и они наконец покатили вниз по Фратерской, мимо Илирской на Краишкую к таможне, расположенной у железной дороги уже совсем на окраине города. Здесь по обочинам широкого шоссе росли старые тополя, а рядом с таможней стояло низкое бидермейерское одноэтажное здание, все шесть окон которого с фасада были наглухо закрыты тяжелыми железными ставнями.

— Шлюхи!

Йожа Подравец повернулся к Филиппу, лукаво ему подмигнул и презрительно махнул трубкой в сторону запертых железных ставень одноэтажного дома: мол, шлюхи, видно, еще спят!

Какое чудовищное слово: «шлюха»!

И все же, сколько сокровенных тайн скрыто

в этом вульгарном слове, которое паннонские извозчики выговаривают, собирая под языком слюну от гадливости и презрения! Тайн давно ушедшей безотрадной юности, когда это слово витало над детскими горестями, как таинственный дирижабль, которого видели один-единственный раз и никто не имел понятия, где он мог спуститься.

Где-то здесь за живой оградой растет куст шиповника. Сын ветеринара Аурел однажды днем увидел там лежащую под красным зонтиком голую девку. Приятели обследовали потом весь участок до самого оврага, обшарили все кусты и канавы, но не обнаружили никаких следов авантюристки. Нашли только голубой, совсем выцветший шнурок, повисший на терновнике, и железную шпильку, однако являлись ли эти предметы собственностью искательницы приключений, принимавшей солнечные ванны под шиповником, или нет, установить не удалось. Гимназисты, точно кобели с задранными хвостами, ходили вокруг этого серого неприятного дома, где никогда не было видно ни души, где все было закрыто, заперто, хотя в городе и говорили, будто бы девицы распивают кофе в тени ореха.

В шестом классе, после года мучительной

борьбы, Филипп, рискуя своим моральным престижем, отправился однажды в бордель. Был знойный июльский полдень. Утки сидели в лужах под тенью шелковиц, голубые колокольчики вьюнков склонили головки под лучами палящего солнца, занавеси во всех домах были спущены. Замысел представлялся смелым, но логичным. Самым подходящим временем был, конечно, полдень, когда никому не придет в голову, что он идет к шлюхам. Город точно вымер. Филиппа пробирала такая дрожь, словно он шел по мрачному погребу. Огромное голубое небо, заборы, маки в огородах, тополя, липы перед церковью, вот перебежала улицу собака и, лениво перескочив ограду, исчезла среди петрушки и помидоров. Филипп двигался как деревянный, точно под наркозом, оцепенелый и холодный, его влекла неумолимая страшная сила, только, смерть могла остановить его на этом пути. Кругом ни души, в полном одиночестве он пересек епископскую площадь: у него было ощущение, что его изгнали и заклеймили позором, что замысел его разгадан и все знают, куда он идет, и потому из-за каждой спущенной шторы люди смотрят, как сын лавочницы Регины шагает в бордель, где в конце концов ему и место, «поскольку и сам-то он

родился в таком же борделе»! Перед собором ему перебежала дорогу белая кошка, на углу сквозь открытую дверь кондитерской слышно было, как взбивают сливки.

Влекомый своей страстью, превратившейся в навязчивую идею, Филипп точно лунатик, с восковыми руками, весь в холодном поту, почти ничего не видя, дрожа, с подкашивающимися коленями, как в бреду, приближался к страшному серому дому возле таможни с шестью окнами фасада, закрытыми тяжелыми железными ставнями, ржавыми от времени и дождей. Скоро он завернул в вымощенный кирпичом двор, где воняло курами и голубями и где под сенью огромного ореха все казалось идиллическим и точно вымершим. Белая, застеленная, гостеприимно распахнутая дверь в прихожую а красными суконными занавесями, зеркало в золоченой раме, перед зеркалом на мраморной доске фарфоровая негритянка с золотым кувшином на голове, в кувшине искусственные розы… Тишина. Из полутемного коридора выскочил кролик, понюхал Филиппов след и растаял во мраке. От таинственного мелькания этого темного мехового клубка у Филиппа учащенно забилось сердце, ему почудилось, что это еж, а когда кролик исчез, все

снова утихло и замерло. Воцарилась мертвая тишина. За какой-то дверью послышалось звяканье кастрюль, сковородок, потом хлопнули дверцы духовки. Филипп постучал, в голову ему уже пришла мысль вернуться на улицу, но в этот миг отворилась кухонная дверь, и старуха в синем переднике, с очками на лбу, размешивая в чугунке кукурузную муку и глядя на него исподлобья, очень сдержанно и холодно спросила:

— Чего вам? Кого нужно?

Потом поставила чугунок на стол, вытерла руки и, шлепая войлочными туфлями по полутемному коридору, скрылась за портьерой. Дверь в кухню осталась распахнутой: на кухонной плите одна конфорка была открыта и сквозь закоптелый круг вырывались темно-красные языки пламени, чадные и мрачные, напоминая костер, на котором сжигали еретиков. За портьерой скрипнула дверь, послышались голоса, сдержанные смешки, потом Филипп под строгим и недоверчивым взглядом близорукой бабки отважно направился почти вслепую к двери, на которую старуха указала перстом.

После яркого летнего солнечного света он двигался на ощупь, точно слепой, почти в сплошной темноте, наполненной влажными, кисловатыми

запахами, едва различая при слабом свете полуоткрытой двери какие-то тазы, спинки стульев с брошенной на них женской одеждой, герань на подоконнике и открытки на стенах. Из непроглядного мрака чей-то голос позвал его подойти поближе.

Здесь, освещенная врывавшимся сквозь узкую щель в ставне солнечным лучом лежала женщина с оголенным животом, огромным и совершенно белым, как тесто на лопате пекаря. Живот этот был огромный, вздутый, с пупком, рыхлый и податливый, как опара — точь-в-точь сырой хлеб на лопате пекаря. И это было все, что ярко и навсегда запечатлелось в его памяти.

Шлюхи! Где то давно минувшее время удивительных тайн девок и белого брюхатого женского хлеба с пупком?

Филипп, покачиваясь на рессорном сидении Йожи Подравца, стал думать о том, каким образом можно было бы решить этот мотив на полотне? Черно-белое?

Слишком слабо. Слишком односторонне. Главное в том давнем эпизоде — это освещение гнилого, сырого, раздутого, огромного, таинственного женского начала, которое надо бы передать в манере Тулуз-Лотрека, но только осветить наро-

чито нездоровым призрачным светом гниющей плоти. Совершенно гнилой, почти жидкий живот должен переливаться через края полотна, как перезревший камамбер, и ни в коем случае не напоминать обычной жизни банального борделя; это должен быть усталый живот старой, измученной роженицы, серьезной, печальной, испитой бабы; это уже не капитульская шлюха, а символ, формула того положения, в котором находится современная женщина, скрытая как святое святых, заплеванная, как плевательница, и омерзительная даже Йоже Подравцу. На эту постель следовало бы накинуть все невидимые покровы тайной распаленной похоти, невинного страха и ожидания чего-то необычного, сверхъестественного, а вместо этого — прохладный сумрак, в котором все пропитана кисло-сладким запахом уксуса. Живот женщины стал бы темой, но темой откровенно-вызывающей: темной женской наготы, которую следует в конце концов когда-нибудь раскрыть бесстыдно-правдиво, в чувственном запале, с нарочитым подчеркиванием телесного. Белое голое тело надо написать нежным, извращенным, в полубезумном порыве страха, тревоги, лихорадки, детского ужаса среди тьмы, смрада, кислых, вонючих бордельских

перин, кипятильников и грязных чашек с остатками размокших рогаликов и отвратительных зеленых мух, жужжащих во мраке и бьющихся о зеркало.

Размышляя о давнем эпизоде под старой кровлей, что осталась позади за тополями и железной дорогой, Филипп чувствовал, как ширятся круги ассоциаций, как они переходят в бурю, в бешеный свист перенапряженной прозорливости, которая обычно еще в зародыше способна уничтожить все его созидательные порывы, когда язык картины ограничен лишь одними средствами живописи, когда невозможно изобразить звуки и запахи, а точного воплощения образа без звуков и запахов не получается. Вонюче-кислое пространство мрачной комнаты, эту clair-obscur[5] борделя надо заполнить вибрацией голоса — прославленного, сифилитического хриплого альта, который клокочет в глотке, подобно старому пищику разбитой свирели, голоса, который должен быть таким же серым, как изодранная мешковина на постели женщины. Самая важная роль в том фатальном эпизоде принадлежала хриплому женскому альту: он придавал законченность

---

[5] Примечания: 5
Светотень *(франц.)*.

тому давнему июльскому полдню, когда юный паренек испугался женской наготы и бежал из комнаты, как вор, а сердце у него билось так, словно за ним ринулся неведомый мохнатый хищный зверь.

Женщина сказала ему, чтобы он подошел. Он подошел.

Сказала, чтобы он сел на постель, и он сел.

А когда женщина взяла его за руку и, выспросив его, узнала, что он сын Регины, она заговорила о лавочнице таким тоном, будто дело шло об особе, нисколько не отличающейся от тех, что живут в этих темных каморках.

— Почему? Потому что она спит с канониками? С епископами? Словно ее господин каноник Ловро не приходит сюда и не жалуется на свою Регину, которая ему очень дорого обходится!

Слушая ее хриплый прокуренный голос — он доносился из кисловатой полутьмы, словно из свинцово-серого облака грязных простынь и влажных перин, и говорил о его матери, — Филипп видел под своей рукой огромный, рыхлый, белесый, как пивной гриб, живот, от которого несло простым мылом, и все это — и непонятная западня в отвратительном доме, и мрачная таинственная драма в табачной лавке и вокруг

нее — накрыло его точно мокрой вонючей простыней. Ощутив невыносимо тошнотворный смрад, он вырвался из рук бледного призрака и выбежал из комнаты. Убегая, он не забыл бросить форинт и даже услышал звон серебра о какое-то стекло.

У железнодорожной насыпи он до самого вечера проплакал, будто умер очень близкий ему человек.

* * *

Однообразные, крытые соломой паннонские домишки и амбары, кобылы и коровы на левадах и выгонах, вспаханные поля, свиньи, ужаснейшая тряска привели Филиппа в глубокую меланхолию, в то самое тоскливое состояние, которое всегда сопровождало начало его наиболее удачных свершений.

Роятся пчелы, хрюкают свиньи, телятся коровы в хлевах, у больных телят в повоях текут по мордам слюни, шумит ветер в свежих, молодых кронах грабов и дубов, тяжелые весенние тучи плывут над лесами, — Филипп едет на костаньевецкий виноградник после одиннадцати лет скитаний по городам Европы и думает о своей новой композиции: тускло освещенный рыхлый

живот женщины, увиденный глазами болезненно восприимчивого юноши.

Единственный импульс созидания — это первичное осквернение наших чувств: человек видит лишь тогда, когда его что-то кольнет. Назначение живописи — прозорливо раскрывать окружающий мир, в противном случае она лишена смысла. Тогда это простое повторение и перепевы известных и написанных картин: количественное преумножение уже виденного! То самое скучное зимнее времяпрепровождение детей, когда они трут мокрыми пальцами переводные картинки, перенося их на бумагу. Повторение уже найденного составляет в живописи направления, стили, школы, впрочем, какое ему, Филиппу, до этого дело — он-то ни к каким направлениям, стилям или школам примыкать не собирается. И потому тему голого живота надо освободить от психологического балласта акустического или обонятельного свойства. Картина должна звучать обвинением, как у Крафт-Эбинга: надо дать почувствовать, что под этим голым животом — осквернённая и зарезанная детская душа!

Хрюкают свиньи, мычат коровы, роятся мухи над кучами теплого навоза; от светлых, белых,

майских нагромождений облаков луга и посевы залиты белым светом. Но вознице Йоже Подравцу скучно. Трубка его погасла, умные кобылы знают дорогу лучше возницы, а этот чудак сидит в пролетке и так упорно молчит, будто заснул. Нет, он не спит, а явно над чем-то ломает свою господскую голову. У него много чемоданов: видно, какой-нибудь циркач и фокусник! А может, еврей и в тех сундуках у него красный товар! Ленты, гребешки да шелковые женские рубахи!

Когда стали шагом перебираться через краводерские овраги, Йожа Подравец, чтобы прервать наскучившее молчание, начал рассказывать о себе, о своих домашних, о делах. О том, как он дважды побывал в Америке, но проку от всей этой Америки никакого, и кой только черт ее выдумал? Сказывали ему старые, опытные мореходы, которые уже не раз помочились в эту большую воду, чтобы глядел в оба, и тогда он, может, увидит, как дикие олени плывут за судном. И он два дня и две ночи просидел на палубе, все не хотел ложиться: ждал, когда дикие олени вынырнут из воды, но так ни одного оленя и не увидел! До половины океана пароход провожали белые птицы («это, так сказать, сущая прав, да, видел собственными глазами»), потом им навстречу

вылетели другие — черные, американские («так сказать, черные, как змеи»), и поэтому моряки определили, что пройдена точно половина пути.

Йожа Подравец служил в цесарском уланском полку в Венгрии, в Толне. В пятнадцатом году под Доброй Ночью в Галиции был взят в плен, в походной фляге у него оставалось еще пол-литра рома. Побывал в Тегеране и в Тифлисе. В Тифлисе голеньких турчанок — пропасть, а в Ташкенте он торговал рыбой и сражался на верблюдах под началом генерала Дутова против красной Москвы. Потом возвратился («так сказать, слава богу!») в Бишкупец, дважды раненный и дважды перенесший «смертельную болезнь»; но сейчас, так сказать, здоров и ни на что не жалуется, у старухи есть зингер, и она вышивает.

Слушая однообразную и пустую житейскую болтовню возницы, Филипп чувствовал к нему полное безразличие и отчужденность. Двести миллионов вот таких чурбанов извозчиков живет на лугах от берегов Тихого океана до паннонских болот, и все на одно лицо, на одну колодку и с одной судьбой.

Филипп мысленно писал воображаемый живот, отрабатывая рыхлые и мягкие складки у бедер, а этот «так сказать» говорил о том, что

«помочиться и не пустить ветры — все равно что идти к причастию, не исповедавшись!».

У Йожи Подравца есть зингер, и жена его вышивает, а он, Филипп, решает что-то в символической манере, играя раскрашенными плоскостями, как формулами, и занимаясь, в сущности, проблемами абстрактной, совершенно вымышленной арифметики. Какая непостижимая пропасть между ним и этим паннонским извозчиком! Но не меньшая пропасть отделяет его от памятника поздне-сецессионисткого направления на капитульском бульваре. Это тоже два мира. И вон та желтая пограничная церковь в стиле барокко на лужайке тоже составляет свой особый мир. Стоит здесь, среди болота, точно какой бастион, и вдалбливает вот уже много сотен лет паннонцам свои основные тезисы и резолюции, но без какого-либо видимого результата: образ мышления паннонских извозчиков за последние две тысячи лет не изменился, наверно, ни на йоту. Этот сидящий на облучке человек ближе к древнепаннонским пращурам, чем к Матиссу! А как далеки мозолистые ладони этого по сути дела скотовода от нежных, как шелк, пальцев Филиппа!

Сидят рядом два человека, возчик и он, Филипп,

чудак и неврастеник, художник-сектант, релятивист, фовист, колорист, и говорят вроде бы на одном языке, а на самом деле это два языка, два континента! И мраморная женщина на бульваре, памятник определенного мировоззрения, тоже особый континент. И «Великая эпоха» плыла среди вещей, как глыба льда, сама по себе — целый мир отторгнут этой льдиной и потоплен. И знаменитая Бакачева капитульская крепость, и епископский двор, и покойный отец Филиппа — камердинер епископа, и его мать, сиделица табачной лавки, Казимира Валенти, которая по неизвестным причинам назвалась Региной, сосуществовали в пространстве как разрозненные, несоразмерные и независимые друг от друга единицы. Между всеми этими явлениями дистанции изрядные, хотя они и соприкасаются друг с другом фатально, глупо, дьявольски непонятно и весьма печально. Сидящий на облучке человек был уланом и солдатом так называемой Великой эпохи. Любил голеньких турчанок, воевал на верблюдах в среднеазиатских песках, видел лагерные огни пресловутого Вальми и вернулся обратно в свой Бишкупец, отмахав двадцать тысяч километров. Этот извозчик и не католик, и не приверженец цесаря, и не русский военноплен-

ный! Он не патриот, не гражданин, не верит ни в бога, ни в черта, хорватский язык он позабыл, а русскому не научился, для него нет ничего святого в католическом понимании этого слова, он не признает ни церковных, ни светских законов, погряз во всех смертных грехах, и наверняка он убийца, клятвопреступник и прелюбодей, и боится он на этом свете пуще самого дьявола только одного — векселя. И все-таки и под его крышей, подобно чумным крысам, угнездились два векселя. Прозывается он Подравец, у него четыре кобылы и один ольденбургский жеребец, жена ему печет пироги и, «так сказать, вышивает на зингере», а он сидит себе на облучке, курит трубку, поплевывает и ждет морских оленей. Двести миллионов таких извозчиков от Дона до Блатны и от Волги до Ляояна ждут морских оленей и валяются по своим телегам, и все движется, все запряжено, все жрет сено, извергает навоз, и в книгах это называется политической экономией.

Двести миллионов извозчиков — подлинные приверженцы сюрреалистического течения в самом декадентском его смысле. Живут в первобытном мире без разума, без света и сами такие же первобытные, темные и закостенелые. Живут вне времени, без какого бы то ни было внутренне-

го стимула и по сути безо всякой цели! Животное существование как таковое. Их уверяют, что они созданы по образу и подобию божьему. Сказка о сверхъестественном происхождении рода людского почти сбила их с толку. В некоторых областях своей жизни все эти сбитые с толку возчики, ярмарочные торговцы, земледельцы придерживаются существующего порядка вещей, хотя весьма относительно и до известной степени. Язычники, замшелые от неподвижного тысячелетнего сидения на паннонских болотах, эти Йожи Подравцы рассуждают об ольденбургском жеребце с таким пафосом, словно говорят о полубоге. Подобно обитателям Индии, Конго и дикарям тропиков, они смотрят на половые органы ольденбургского жеребца просто и естественно, так же естественно, как европейские девушки нюхают цветы, что по сути дела является о точки зрения католической морали таким же бесстыдством. Расцветшая роза в стакане на девичьем столе — извечный сексуальный символ. То, как говорит Йожа Подравец о своем жеребце, лишь свидетельство его целомудренной, библейской непосредственности, для него, сперма жеребца драгоценный сок, каждую каплю которого он собирает и продает по случаю, как жена сливки.

Что же это за непостижимая пропасть между ними, между человеком, который уже семнадцатилетним мальчишкой стал смотреть на женщин на тулуз-лотрековский манер (не имея тогда понятия о Тулуз-Лотреке), и этим целомудренно непосредственным извозчиком? Почему такой разрыв и откуда он взялся? Как возникла такая обособленная частица, как он? Когда оторвалась она от среды, условий, почвы? По какой касательной, в каком направлении идет? И разрыв ли это, раздвоение или сумасшествие? Опасный психоз? В сущности, все утратило свой первоначальный смысл! Эскимосы или негры, поедая еще теплое, с кровью, сало носорога или тюленя, делают это естественно, как здоровые животные. Зубы чернокожего в состоянии разгрызть сырое мясо, и то, что он ест гиппопотама, так же естественно, как и многоженство. А горожане едят, точно больные кошки; у них гнилые зубы, они умирают от рака, а о своих кишках написали толстенные книги. Люди в городе нездоровы, золотушны. И эти двести миллионов извозчиков уже тронуты уродом! Город ведет к безусловно нездоровому отрыву от природы — единственной естественной почвы для непосредственной жизни! А собственно, где находится эта почва и существует ли вообще

что-либо непосредственное?

От этих усталых и сонных дум, что роились в голове, точно досадливые комары, его вдруг охватило страшное ощущение, которое на протяжении двух последних лет он испытывает то совершенно явственно, то смутно: реальная жизнь все больше приобретает черты потустороннего мира.

Явления жизни по сути дела не имеют между собой никакой внутренней логической и разумной связи! (Мысль, конечно, дьявольская и нездоровая.) Они существуют и развиваются одно рядом с другим, одновременно, подобно дьявольскому симультанеизму фантастических сюжетов Иеронима Босха или Брейгеля, — одно в другом, одно рядом с другим, одно над другим, в сутолоке, в бреду, в неистовстве, и так с начала и до конца. Огромные закопченные колокольни с головами драконов на выцветших желобах, мраморные зады, и тут же толстая Каролина, английские лошади, bon jour, monsieur — голос сойки в клетке, и все тает, как шоколад в серебряной бумажке, все медленно тащится, как повозка Йожи Подравца, все глупо и топко — как Паннония! Голые животы, тайные драмы, нездоровое детство, печать которого он носит на себе вот

уже сорок лет, — все, точно облака, громоздится в бесконечных вариациях, чтобы в один прекрасный день растаять как туман и выветриться как смрад отхожего места: непонятное движение чего-то огромного, что разлилось в мироздании, свернулось в клубок, как сытый удав, и само себя пожирает, изблевывает и вулканизирует в смоле и смраде. Беспорядочное движение, паническое брожение материи без причины и внутреннего смысла: само по себе живет и умирает и снова рождается, возникая, как вода, как грязь, как пища. Борется, ест, переваривает пищу, испражняется, глотает и бродит по кишкам, дорогам, оврагам, воде. В одном месте начинает увядать, а в другом — буйно разрастается, как бурьян на свалке, и все это по сути дела какая-то дьявольщина, но дьявольщина, наделенная плотью, сильная и неискоренимая. Ни целеустремленности, ни созидания, одна лишь первобытная глухая чащоба, паннонское болото, непролазное и мрачное. Полотна Филиппа, его книги, исследования, эссе о живописи, о проблемах цвета, о свете как творческом стимуле и рядом — ульи, домишки под соломенными крышами и спальные вагоны экспресса! Его восприятие женщины и тут же — извозчик, который сидит возле него и

ждет морских оленей, либо толстые краснощекие отцы церкви в роли астматичных любовников в фиолетовых шелковых фелонях, приживающие незаконных детей с сиделицами табачных лавок. Житейские мелочи разрушающего действия! Кругом одни лишь изрытые муравейники, гнилые крыши, истлевшие гробы!

Филипп трясется в повозке, и мысли его пенятся, точно углекислота в стакане содовой; процесс шумный, бурный и освежающий — думать образами и упиваться их многоликой сменой.

* * *

Миновали утренний бедлам Краводера: едкий запах аммиака от навозных куч и хлевов, мычание коров и топот копыт по грязной дороге, гогот гусей во дворах, скрип дверей винных погребов, откуда выглядывал какой-нибудь толстощекий болван с жирной шеей в меховой шапке и с трубкой в зубах, любопытствующий узнать, кто это проехал через Краводер. Для свиных, заспанных глазок событие, конечно, незаурядное: извозчик и на нем чужестранец с чемоданами!

«Торговый агент или помощник уездного начальника из Ялжабета? А может, шпион? Всякий сейчас сброд шляется по свету!»

В окнах краснел прошлогодний перец, в сетках на кольях заборов сушился сыр, кукарекали петухи, куры ошалело перебегали дорогу перед самыми колесами пролетки и между копытами лошадей. Занималось влажное, росистое утро. Сквозь утреннюю дымку все сильнее пробивалось теплое апрельское солнце. Вороной жеребенок, с густой волнистой гривой на красивой крутой шее, весело ржал, семеня рядом с Йожиной кобылой; поравнявшись с выгоном, он оторвался от повозки и бешеным карьером помчался к колодцу, где парни поили лошадей. В корытах поблескивала вода, слышалось постукиванье деревянной бадьи, оживленный гомон людей и топот вороного жеребенка в облаке пыли — все было радостно, полно движения, весело, живо.

На краю села им встретились две монашки.

— Тьфу, черт бы их побрал! — буркнул Йожа Подравец себе под нос. — Этих еще не хватало!

Каждая честная сестра несла полное лукошко яиц. Увидев неизвестного господина в повозке, обе подобострастно и низко поклонились, вероятно приняв его за представителя власти, а властям никогда не мешает поклониться. Церковь уже две тысячи лет ходит вот с такими полными лукошками яиц — сколько за это время пере-

менилось властей и в городах, и в экипажах на провинциальных дорогах, но политика малых знаков внимания никогда еще никому вреда не приносила.

Мрачные женщины в толедских накидках, с отсветами солнца на крахмальных белых крылатых клобуках снова всколыхнули в голове Филиппа мысли о параллелизме явлений: монашки в своих одеяниях с четками и странными крылатыми клобуками, два невиданных заморских попугая, выросли из краводерского болота словно два страшных символа. Обезьяны и попугаи столетиями могут жить бок о бок в одной клетке, как два разных вида животных! Бродят эти две черные женщины по грязным хижинам, воруют у скотоводов и извозчиков яйца и тащат их в лукошках в свои далекие муравейники. Лежит пятитысячелетняя грязная Паннония, хрюкают свиньи, ржут лошади, а эти мерзкие попугаи воруют, точно куницы, у паннонцев яйца, хоть у каждой есть свой витязь и святой в доспехах, так сказать, покровитель и небесный любовник! Расстояние между этими двумя мирами — непреодолимое! А он, безбожник, западник, взбалмошный чудак, неврастеник и декадент, едет на повозке Йожи Подравца по Краводеру весенним утром, когда

все в движении, цветет, наливается, когда все вокруг кружится, как это скрипучее колесо, что прокладывает новую колею поверх множества следов бесчисленных, исчезнувших в тумане толп. А все, в сущности, бессмысленный хаос!

Звонким ударом серебряного топора, отзвуком паровой пилы, в ослепительном блеске верчения острогранного диска, в высшей, какой-то сверхъестественной вибрации нашего времени, точно бритва рассекая вещи и понятия и модулируя ясным чистым звуком высокого тона, как верхнее «си» в камертоне, дерзко и победоносно запел пропеллер и пронесся где-то над головой звуком архангельской трубы. Два мира: Лондон — Белград — Бомбей За три дня и краводерский винный погреб да монашеские лукошки с яйцами! Паннонское болото и надвигающаяся цивилизация!

Над хижинами-свинушниками и шелковицами — отливающая серебром алюминиевая гитара с натянутыми полотняными крыльями: над груженной мешками и чемоданами пролеткой Йожи Подравца — летящий музыкальный инструмент. Над всем статичным и привязанным к вещам — огромные синие круги света, солнца и бодрости! Над домами и деревьями, громоотводами и колокольнями, подводами, что

ползут, точно ужи, по болоту, допотопно скрипят и почти не двигаются с места, — солнечная прекрасная молния! И, глядя на это яркое сияние металла, над чересполосицей земли точно на проведенную серебряным мелом черту в небесной сфере, Филипп захотел взять платок и помахать летящей машине, как потерпевший кораблекрушение приветствует белый солнечный корабль, плывущий с неотвратимостью математических законов в сверкающую гавань через болотистую мрачную топь сегодняшней действительности.

* * *

Два месяца прошло со времени возвращения Филиппа на костаньевецкий виноградник. В долинах уже цвели липы и акации. Жизнь вокруг Костаньевца загнивала по болотистым оврагам, покрывалась ряской, словно трясина, и плесневела, как тухлая вода, в которой разлагаются потонувшие предметы.

В Блате Мица Требарчева перерезала себе пуповину ржавым серпом, начался антонов огонь, и она умерла в страшных муках, а в Блате полагали, что в смерти повинна старая Миклеушка. Волынщик Мишко гнал как-то ночью из лесу свиней и видел, как Хромой перескочил плетень двора

старой Миклеушки и зарысил по дороге. Был ли он подкован, свинарь Мишко наверняка не знал, но голову давал на отсечение, что старуха в ту ночь варила чертов крамбамбули: светло-зеленоватый дымок курился над трубой Миклеушки целую божью ночь. И в ту же самую ночь навеки закрыла глаза Требарчева Мица. А спустя день, слава тебе господи, и ребенок помер. Дело ясное, старая Миклеушка навела порчу на Мицу за то, что она не захотела выйти замуж за ее кривого Франю! Вскоре кто-то поджег Миклеушкин амбар, он сгорел дотла, и тут же у ее соседа Болтека околела корова. Дело ясное: сглаз. Осмотрел ветеринар корову и говорит: сибирская язва. В суд, значит, не подашь, но разве ветеринар знает? Ведь жена Болтека ворожила на угольках и ясно видела в тазу Миклеушкино лицо! Следовало бы ее вывести на чистую воду: по крайней мере, станет ясно, где правда!

В Яме, на самые святки, три волка днем напали на корову Лойзе Рибара и сожрали ее до косточки. Подобрались со стороны общинного выгона — давно уже такого не случалось! С шестьдесят шестого, когда эрцгерцог Франц пошел на Пруссию, — вот когда в Яме последний раз гостили среди бела дня волки. Тоже, конечно, неспроста.

Ходит по селам молва, бродит в сумерках вдоль плетней, перескакивает через топкую дорогу, отдается шепотом под стрехами в дождливую пору и разносится повсюду — молва о черных и голодных годинах. Как всадники Апокалипсиса, грядут из темных туч голодные годы: на вороных костлявых клячах с всклокоченной шерстью и заупокойными свечками, с громом, трусом и чумой; так приходят голодные годы. Да и война, видать, опять готовится и прочие страсти! На ухабистом дворе попов лысый жеребенок сломал себе ногу; его пристрелили, а в Турчинове и в Хасане, люди говорят, будто видели, как тот же самый попов лысый жеребенок пробежал по селу! Видели его живым-здоровым и на Светоянском выгоне! А в Колце не то бешеная собака, не то волк (чтоб ему околеть) перекусал почти всех детей в школьном саду и точно сквозь землю провалился. Стал являться и покойный пономарь Юре: видели однажды ночью, как он караулил у батинской часовни. Ночь стояла лунная, и было ясно слышно, как на ветру скрипит дверь мертвецкой. Надо бы залить его могилу водой! Разверзаются могилы, растет тревога, ширятся слухи. Вернулся из России Переков Юре, а люди думали, что он уже десять лет, как помер, и теперь принимают его

за библейского Лазаря: на посиделках твердят, будто Юре воскрес из мертвых. Все его боятся. Пришел он как-то вечером в корчму к Севастьяну и бутылкой разбил Штефе Брезовецкому голову, чтобы доказать ему, что он не призрак! А хромой Матия из Блата как-то ночью встретил возле моста на Бистрице черную карету. Все на ней сверкало, и горели четыре фонаря: два спереди и два сзади. А кучера не было, только позади, на золотом пружинном сиденье, сидел генерал в красных штанах, обшитых золотым гайтаном, и в кожаной каске. И кто же это был? Рудольф!

— Кронпринц Рудольф, собственной персоной.

Только хромой Матия так испугался грохота (экипаж летел через бистрицкий мост как стрела), что даже не приметил толком, был ли это четверик или нет, и ему все казалось, будто передний конь слева скакал без головы.

— Клянусь богом, это покойный кронпринц Рудольф разъезжает между Блатом и Кривым Путом и ехал он, скорее всего, в Топлицу, в епископский дворец! Убей меня бог, по всему видать, плохие времена наступают!

— Пшеница нынче не сулит ничего хорошего, ей-богу, а овес от туманов весь ржавчиной покрылся. Нет конца болезням: рожа, оспа, ди-

зентерия, порча всякая, а тут еще загорелся капитульский лес, три дня и три ночи полыхал. Сколько лесу погорело, а стоило человеку вырезать кнутовище, капитульские лесники тут же избивали его как собаку. Теперь вот все дотла выгорело: ладно, хоть дети повеселились!

А то еще прошел вчера вечером через Костаньевец бледный такой человек. Псы, обнюхивая след, учуяли запах серы. Опасны эти незнакомые бледные прохожие в сумерках! Либо воры, либо колдуны — черных дел мастера! Случаются и упыри: ходят, будто живые, только ноги у них под опанками, сказать правду, простите, козлиные!

Залили могилу покойного Шимона Вигорека водой, забили в головах три осиновых кола, а он все равно ночь напролет ворошит картошку на чердаке у своей бывшей жены. В Костаньевецком лесу обнаружили повешенного краинца, кошелек у него оказался на месте, и в нем три сотенных! Что же это такое? Облавы, розыски: кишмя кишат в мире мошенники, точно черви в гнилом мясе; всюду подозрительность и недоверие, да и правильно, потому что человек родится вором.

Пожить среди лошадей и кошек, питаться деревенскими слухами, почувствовать шершавый язык теленка на своей ладони, наблюдать за

ростом растений, которые изо дня в день зеленели и наливались соком, с математической точностью добиваясь максимума света и солнца, было весьма полезно для нервов Филиппа. Когда проживешь одиннадцать лет на суррогатах гороха, фруктов, воды, мяса, одиннадцать лет ощущая унылую отрешенность от настоящего горошка и настоящего мяса, чувствуя, как от подлинной жизни тебя отделяет тонкая холодная жесть консервной банки (словно тебя самого посадили в отвратительную консервную банку без хлорофилла и кислорода), естественно развивается тяготение к радостям нецивилизованного существования: как, должно быть, приятно рвать зеленый горошек в огороде, шелушить душистые шелковые стручки, вонзать ноготь в молочную горошину, есть черешню с дерева, есть яйцо, которое пахнет курицей, а не известью, спать бесконечно долго и, проснувшись, услышать пенье петуха на крыше курятника, а не хриплый голос граммофона, что плачет где-то за черной от копоти стеной.

Окружавшая Филиппа явь была такой безыскусственной, такой непосредственной и жизненной, что он чувствовал себя покоренным: он жил среди голубых открытых просторов, наполненных

настоящим светом и неподдельными запахами. Полет цапли, треск аиста на трубе соседнего дома, серые, точно вылепленные из грязи люди, с которыми он встречался, — все казалось ему каким-то странным, фантастическим представлением.

Приходили крестьяне, от них несло навозом, болотом, одежда их была в сене, соломе и колючках, и они не имели понятия о духовной жизни, для них существовало лишь то, что имело плоть, что можно пощупать и определить: это мягкое, это твердое. Огрубелые, огромные мужики, пропахшие лошадьми, телегами и вином, которое льется словно из бездонных, неисчерпаемых бочек, полупьяные люди, живущие в вечном мраке похмелья и страха и отделенные пропастью от всего городского (и все же каким-то глупейшим образом связанные с новейшими достижениями города и машинами), напоминали Филиппу растревоженный муравейник.

«Живет себе муравейник, славящийся высокой организацией своей жизни, живет по своим законам и со своими непонятными целями, и вдруг чье-то огромное копыто нарушает это движение и повергает все в страх и замешательство. Что делать с этим растревоженным муравейником, как к нему подойти? Каким образом? С какой

стороны?»

Раздумывая о крестьянском житье-бытье, Филипп Латинович, разумеется, впадал в заурядный утилитаризм. Что, если навоз заменить искусственным удобрением, гипсом или чилийской селитрой? Что, если пахать тракторами, уничтожить чересполосицу, сделать огромные (канадские) поля и таким образом поднять деревню двенадцатого столетия на современный уровень? Что, если дать электричество? Займы? Банки? Задруги?

Он наблюдал, как некоторые предприимчивые одиночки ведут бесплодную борьбу с задругами, околачиваясь в сырых полутемных комнатах, где обычно нет ничего, кроме мешка гипса, весов с двумя желтыми медными чашами, на которых взвешивают купорос или соль, да бухгалтерской книги с большими печатями, куда непременно суют нос члены правления, дежурящие здесь в послеобеденное время и думающие лишь о том, как бы оговорить кассира из-за двух-трех динаров.

Комитеты по борьбе с неграмотностью?

Восемнадцать миллионов лет ходим мы на двух ногах, и тем не менее все мы еще четвероногие! И что значит умение читать и писать, если люди пишут наверняка уже более пятидесяти

тысяч лет, и каждые сто лет рождается человек, который действительно умеет писать, однако его никто не знает и никто не читает!

Организовать съезд пожарных?

Костаньевчане готовятся к торжественному собранию пожарных, у старосты, сапожника и виноградаря Хрустека, есть даже медная каска с красным конским хвостом.

А может, он, Филипп, поможет Костаньевцу своими колористическими полотнами, написанными в манере наимоднейших фовистов? Любая, даже самая отдаленная мысль о живописи в этих обстоятельствах казалась ему смешной.

В больших городах живет множество художников; расставляя свои полотна на городских толкучках, они, как пауки в паутину, ловят доллары в коловращении денег и товаров. Здесь, в Костаньевце, имеет смысл продавать попоны, горшки, керосиновые лампы (впрочем, нынче и это не ходкий товар), но заниматься живописью совершенное безрассудство! Ради кого? Ради чего? Фовизм тут чистая бессмыслица!

Вдохновение давно уже не посещало Филиппа. Та композиция с голым животом женщины, возникшая в его воображении, когда они проезжали мимо окон борделя, была его последним художе-

ственным замыслом. Воображение не рисовало картин, все впечатления строились рационально: затрепещет ли необычно зеленый лист или свет, бледный-бледный, точно на гобелене, зальет голубовато-грязную скалу — он наблюдает игру красок спокойно, оценивающе, без волнения.

Газеты приходили, но он их не читал. Ему казалось, что нет ничего более ненужного, чем городские новости: моды, шляпы, футбольные матчи, спектакли, выставки! Все то шумное, назойливое, что делает город городом. Глупое несоответствие! Разве можно назвать жизнью, достойной человека, то, что происходит сегодня в городах. Бессмысленные горы товаров, давка возле них, шумная назойливость всех этих временных хозяев станков, мыла, ламп, крики, кровь, и борьба из-за всего этого? Блуд на губах старых, усталых женщин, закоптелые деревья на бульварах, подсвеченные горящими буквами реклам, грязная газетная бумага, его собственная долголетняя усталость от жизни среди такого содома. Точно воробьи в пыли и конском навозе, роются женщины больших городов на мусорных свалках современности — зараженная кровь, саксофоны, алкоголь, а вокруг копоть и пустота.

Здесь же вечный голубой, ясный штиль. Легкий

ветерок качнет грушевый лист, и снова воцаряется долгая, бесконечно долгая тишина. На столе скатерть с бледно-голубыми полосами и старые бидермейерские чашки ярко-красного цвета: краплак. Солнце играет на самоваре, точно первая скрипка (правда, чуть-чуть слащаво), пчела жужжит над тарелкой с черешнями, — типичный импрессионистский натюрморт. Приятен на губах терпкий вкус чая, когда он смешивается с первой горькой затяжкой дыма; приятно лежать в чесучовой паре в лонгшезе, на ласковом ветерке, отдыхая после ванны; зеленеет трава, летают зонтики одуванчика, крыша обросла мхом, виноград, розы — и все упоительно прохладное, как чаша с росой. Голубой воздух полон цветочной пыльцы и влажного запаха земли — хорошо, тихо, покойно.

Оказалось, что у матери в Костаньевце два дома: один двухэтажный, сецессионистский, внизу на площади перед сельской управой. На первом этаже его помещается аптека, а второй этаж занимает землемер. Другой дом в винограднике, где она живет сама. Он стоит на пригорке над самым Костаньевцем, откуда до приходской церкви по зеленому серпантину медленным шагом идти самое большее семь минут.

Это строение из почерневшего от времени дуба, поросшее мхом, с крутой по-старинному, закоптелой крышей, пустовало после смерти крижевацкого нотариуса и мелкопоместного дворянина Летованецкого, и госпожа Латинович купила его очень дешево, на то у нее и «легкая рука», по крайней мере в материальном отношении. Для Филиппа были приготовлены две комнаты на мансарде, или, по выражению его матери, на втором этаже. Тут, под закоптелыми столетними балками, где целые поколения Летованецких зажигали заупокойные свечи, в уютном маленьком помещении с четырьмя выходящими на юг окнами, с видом ка виноградник и далекие голубые горы, Филипп чувствовал себя хорошо и покойно. Перед окнами цвела липа и щебетали ласточки. В комнате, где он спал, стоял их старый, красного плюша гарнитур с овальным столом и бархатным альбомом. В этом инкрустированном альбоме со старинной застежкой было множество незнакомых людей со странно-продолговатыми лицами, преимущественно поляков, по материнской линии Валенти. Особенно живо врезалась в память Филиппа фотография господина в высоком цилиндре, с тростью черного дерева, положившего правую руку на мягкую

спинку обитого бархатом кресла с тяжелыми кистями. На стене висела незнакомая Филиппу картина — масло сороковых годов прошлого века: молодая женщина в белом, в руке соломенная шляпка со светло-голубой лентой. В комнате, о которой мать сказала: «Здесь ты можешь работать», — стояла гостиная темно-синего цвета с перламутровыми инкрустациями, купленная вместе с домом, но главным украшением комнаты была картина в тяжелой позолоченной раме, изображавшая сабор сорок восьмого года с главным персонажем этого представления баном Елачичем[6] в центре. Этот бан Елачич со своим сабором с первой минуты страшно раздражал Филиппа своей аляповатостью, но у него не хватало мужества попросить мать убрать картину: такое требование могло показаться слишком сумасбродным, а он, особенно в первые дни, всячески избегал щекотливых тем.

Словом, все выглядело довольно комично, хоть и не лишено уюта: горка с чашками небесно-голубого фарфора с золотой каемочкой ласкала взор;

---

[6] Примечания: 6

Имеется в виду большая скупщина в Загребе, на которой 25 марта 1848 г. деятели национального хорватского движения провозгласили баном Хорватии Елачича; 25 июня сабор наделил его диктаторскими полномочиями.

было приятно утром, еще в полусне, остановить взгляд полуоткрытых глаз на этих пастельных пятнах, когда со двора доносится гудение пчел, ветер играет занавеской и неизвестно, который час. Вот заметалась по комнате муха и бесследно исчезла в окне, где-то тихо квохчет курица. Все просто, все на чем-то зиждется, имеет свою основу, свой корень и все имеет три измерения. Живя такой жизнью, можно и самому стать трехмерным: вернуться назад, к Эвклиду, откатиться к взаимоотношениям, существующим в животном мире, снова превратиться в животное!

Как-то ночью ему приснилась бледная, странная незнакомая женщина, они вместе поднимались по крутой улице какого-то южного города. Но все вокруг было каким-то серым, склизким, туманным в кровавом свете фонарей, стеклянные груши которых казались темно-оранжевыми. Повсюду чернели вымазанные дегтем столбы и разносился его едкий запах. Крикливые южане, обливаясь потом, тащили вверх по крутой улице какую-то железную махину, что-то слонообразное, неподвижное и тяжелое, вроде танка. Большие, набрякшие руки рабочих хватались за спицы кованых колес, а полуголая портовая голытьба подталкивала напоминавшую де-

монтированный пароходный котел железную махину сзади. Из котла вырывались языки пламени — горел бензин, огонь обжигал людям руки и лица, потрескивали волосы, шипело мясо. И вот все закричали и разбежались в стороны, а бронированная громадина покатилась с крутизны вниз: у Филиппа создалось впечатление, будто она вспахивает террасы города и, играючи, крушит все, что попало. Вдруг раздался истошный крик, закоптелый котел полетел в стремнину, и тут Филипп почувствовал женщину совсем рядом, казалось, стоит протянуть лишь руку, чтобы взять ее, как апельсин с ветки. Когда громадина скатилась, Филипп как-то вырвался из теплого кричащего клубка и, ощутив резкую боль, проснулся. Из темноты, сквозь квадрат форточки, в комнату врывались багряные сполохи, они играли на картине сабора сорок восьмого года, и видно было, как бан Елачич, освещенный красными языками пламени, говорит о чем-то с хорватскими магнатами и сановниками.

— Огнь, огнь! — доносилось из темноты.

«Огнь!» Старое забытое слово пробудило в Филиппе яркое ощущение своей связи с паннонской почвой. И, сам не зная почему, он вдруг с необычайной силой почувствовал в себе какую-то

стихийную принадлежность к этой почве, почувствовал себя дома.

И словно это было в порядке вещей, Филипп, движимый чувством своей принадлежности к Костаньевцу и солидарности с ним, быстро оделся и выбежал во двор. Горело у старшего дорожного мастера Гитреца, сразу же у дороги, под виноградником. Амбары, конюшня, огромные стога сена, дом — все было объято пламенем. Добро спасли, в горящем хлеве остался только бык-симментал. Гитрец вопил благим матом:

— Бык не застрахован! Надо вывести быка, это мое главное богатство!

Бревна на крыше хлева уже превратились в дымящиеся головни, еще минута, и деревянная постройка рухнет, превратившись в страшный костер, стропила, матицы и доски запылают, как пук соломы. Наступил решающий момент.

Филипп стоял перед полыхающим нагромождением бревен и досок и чувствовал, как в нем растет и зреет решимость на глазах у всего перепуганного Костаньевца броситься в огонь и вывести незастрахованного быка.

Позднее Филипп пытался проанализировать, что могло толкнуть его на этот поступок: необычайно дорогое, таинственное, старокалендарное,

давно забытое слово «огнь», или прерванный, мрачный, тревожный сон о задымленном котле, что катился, точно лавина, с горы (на самом деле — подсознательное восприятие смятения, криков и пожарного колокола), или его личные поиски какой-то позитивной основы в собственном смятении — все это могло явиться причиной самого безумного поступка; но все же чтó именно бросило его в пекло спасать быка Гитреца, он понять не мог.

Накинув на голову сермягу, Филипп кинулся в пылающий хлев; в ослепительном свете вулканического огня, под фейерверком искр ему пришла в голову мысль, что бык может его поднять на рога и что тогда будет с двумя его полотнами Модильяни? Мысль не о собственных картинах, а о двух полотнах Модильяни и о том, что с ними произойдет, если его поднимет на рога незастрахованный бык Гитреца. Однако бык инстинктивно чувствовал опасность и пошел за Филиппом спокойно, как ребенок.

От Турчинова и далеко за Колац и Батину, от Мрачного до Кривого Пута и Ямы в одну ночь разнеслась слава Филиппа. В народной молве он стал тем господином, который спас быка Гитреца.

* * *

Источником новых огорчений явилась для Филиппа его собственная мать. Неправда, что старость — это идиллия в бликах старинной политуры, когда по вечерам, при мягком свете молочно-белой лампы, люди сидят, перебирают воспоминания и мило болтают. Эта женщина, которой перевалило за шестьдесят, необычайно много внимания уделяла своей внешности, беспрестанно смотрелась в зеркало и твердила, точно капризная старая дева, что «она хорошо выглядит». Ее тело было дряблым, как студень, но в жилах все еще бродила ненасытно-кипучая кровь; она жаловалась на ломоту в суставах, куталась по ночам во фланель, но днем разгуливала с оранжевым зонтиком в чесучовом костюме или белом платье.

В ее усталом теле с больными суставами били ключом неиссякаемые жизненные силы. Ее жизнелюбие, страсть к приключениям, умение радоваться мелочам и еще целый ряд свойств казались Филиппу экстравагантными и непонятными. Она, например, наслаждалась всевозможными покупками, даже самыми пустяковыми: свечи, изюм, мыло, шоколад. Свертки стали ее на-

вязчивой идеей, и, как это не было глупо, покупки посылали ей из магазина с площади Костаньевца на дом в специальной упаковке. Она радовалась прогулкам в экипаже и пикникам; вместе с его светлостью Лиепахом Костаньевецким и его сестрой Элеонорой Рекетти де Ретиезат, вдовой советника бана, она все лето устраивала пикники один другого нелепей. Именины, табельные дни, семейные и церковные праздники отмечались скрупулезнейшим образом; Регина знала, когда празднуют какого святого или святую, начиная со святого Роха Костаньевецкого и кончая Турчинской девой Марией.

За последние семнадцать — двадцать лет никогда не живший у матери больше пяти-шести дней Филипп только сейчас увидел, как она изменилась; воспоминания раннего детства рисовали ему молчаливую, мрачную, замкнутую, всегда хмурую, неприступную женщину, которую что-то гложет внутри, которая больна каким-то тайным недугом, но слишком горда, чтобы в этом признаться. Бледная, в трауре, с холодным восковым лицом, она неизменно — летом и зимой — с молитвенником в руках отправлялась на утреннюю мессу. В церкви она становилась на колени, суровая и безучастная, и мучила этим Филиппа до

потери сознания. Он изнывал от тоски, чувствуя, как немеют у него колени, страдая от холода и голода, а мать безмолвно и неподвижно стояла на коленях и, не шевельнув бровью, смотрела перед собой. Держа в лавке сыр, салями и сардины (для господ из уездного суда и полиции), она ни разу не дала Филиппу ни крошки из этих деликатесов и не ела сама. А ныне в костаньевецком доме весь день взбивали сливки, тело утопало в мягких перинах, всюду были разбросаны подушки, пахло ванилью и всякими пряностями и очень много внимания уделялось приготовлению вкусных блюд: обеденным меню мать изводила Филиппа с утра до вечера — чего ему больше хочется, стерлядки с майонезом или поджаренного эмментальского сыра?

С первого же дня его стала выводить из себя непонятная страсть Регины к резким запахам — туалетной воде, помадам и духам. Все эти флаконы с одеколоном и солями, расставленные на полированных столах и ночных тумбочках, все эти косметические омолаживающие средства — парики, подушечки, подкладочки, папильотки, шпильки, румяна, кремы, краски для ресниц и бровей и тому подобное — непонятно почему страшно раздражали Филиппа. Регина

купалась два раза вдень, а толстая Каролина, которая, овдовев, поступила к ней в услужение, после утренней ванны не меньше часа делала ей массаж. С первого же дня Филиппу показались странными и весьма подозрительными все эти грелки для постелей, святая вода, молитвенные скамеечки, четки, иконы вперемежку с модными журналами и пестрыми дурацкими тряпками, выкройками, и вершина нелепости этого сумасшедшего дома — французская грелка, которая поддерживала в постели матери постоянную температуру в четырнадцать градусов по Реомюру. Словно под этой крышей находились восковые куклы, а не нормальные люди. Наблюдая за эксцентричным образом жизни матери, Филипп пришел к убеждению, что прежний ад в табачной лавке создавался некогда с такой же дьявольской извращенностью, как и нынешний воображаемый рай.

В первый же вечер мать рассказала ему о своем романе с его светлостью Лиепахом Костаньевецким; она, никогда в жизни не проронившая о себе и его отце ни слова, два часа битых разглагольствовала о Лиепахе Костаньевецком, бывшем великом жупане и обладателе имения графа Юксель-Краненштейга, с таким жаром, что

в уголках ее губ проступила белая пена: и какое у него больное сердце, и что венские врачи полагают, что он не доживет до рождества, и каково отложение извести в кровеносных сосудах, и какой процент сахара в крови, и что их отношения длятся уже третий год, а сейчас Лиепах пристал с ножом к горлу, чтобы «сыграть свадьбу еще до рождества богородицы!». Но она не хочет спешить. Перво-наперво, его здоровье со всех точек зрения внушает опасение, во-вторых, у него есть сестра Элеонора, а эту даму она отлично знает, и, «как ей сообщила одна особа», брат и сестра рассчитывают, что она завещает дочери Элеоноры свой трехэтажный дом, а ей, Регине, это, разумеется, и в голову не приходит! (Так Филипп узнал, что, кроме трехэтажного дома в городе на улице, названной в честь какого-то иезуита из Дубровника, у матери в капитульском пригороде есть еще один одноэтажный дом с садом возле железной дороги, что цена на участок выросла, поскольку его хочет купить какая-то нефтяная компания, намеревающаяся строить собственную железнодорожную станцию.)

А потом начались муки с ее портретом.

Его светлость Лиепах прочел одну из книг Филиппа о живописи (и принес эту книгу Регине,

но она добралась только до третьей страницы), и теперь всем уже известно, что по возвращении из-за границы сын напишет ее портрет, ведь это вполне естественно, чтобы сын писал свою мать (если не из художественных побуждений, то хотя бы из родственных — себе на память), и он не смеет ей в этом отказать.

И в конце концов Филиппу пришлось-таки натянуть полотно и открыть ящик с красками.

Пытка началась.

Чтобы изобразить этого попугая с прической японского мандарина, с художественно вплетенными буйными косами и серебряными шпильками, это хищное, похотливое лицо с выступающей вперед верхней челюстью, эту сладострастную личину женщины, которая родила его когда-то, и он поныне не знает от кого, Филиппу пришлось бы писать процветающую содержательницу борделя. Поблескивая золотыми зубами, она сидела перед ним, расставив ноги, с унизанными перстнями пальцами рук, с золотым лорнетом и со всем своим арсеналом шпилек, мазей и грелок. Из этого могла бы получиться психоаналитическая карикатура, а не портрет в стиле восьмидесятых годов, который бы соответствовал вкусам великого жупана, его

светлости господина Лиепаха Костаньевецкого!

А потом: где ее писать?

Под открытым небом?

С оранжевым зонтиком в белом чесучовом платье и панаме с зеленой лентой под яблонью в саду? За столом, с бело-голубой скатертью, у самовара? В ее жалкой гостиной в стиле Людовика XV, этом нелепейшем интерьере, который напоминает провинциальную витрину мебельного магазина?

Начались типичные для него поиски места, он топтался вокруг и около модели, испытывая бессильный декадентско-эстетский страх перед непосредственной передачей живописного материала. У него была своя точка зрения, однако для нее она была совершенно неприемлема. Раз уж нельзя дать шарж, то, на его взгляд, цвету ее кожи (контраст между ее лицом и черными крашеными волосами) больше всего подходил бы белый цвет, и Филипп охотнее всего написал бы мать перед зеркалом в белом старомодном пеньюаре, но она, разумеется, и слышать об этом не хотела. Регина настаивала на черном шелковом платье!

Филипп уже видел однажды свою мать в черном платье. Это было давно, много лет назад, он тогда немало пережил, проведя целый день в том

странном, золотом кафе. Тогда впервые он увидел ее усталой и старой, а сейчас, спустя тридцать четыре года, он чувствовал себя более усталым и старым, чем она. Его давнее впечатление, что лицо матери, под толстым слоем пудры, похоже на лицо клоуна, по мере того как он углублялся в работу, все сильнее выливалось на полотно. Снимая, точно с покойника, маску с этой женщины в черном шелковом платье, он проникал во все наслоения ее души: кошачьи ужимки, притворство, наигранную любезность, деланный смех, лицемерие, католическую ханжескую скромность. Под его кистью возникала бледная маска белого клоуна в черном шелковом платье со старинной брошью. Складки у рта, говорящие о необузданных страстях, глаза живые, черные, запавшие, лихорадочные, а под ними, точно тени порока, большие темные круги. А лицо усталое, нервное, напряженное, неестественное, лживое, очень помятое — настоящая обезьянья морда. Первые два дня, пока портрет был в стадии эскиза, первых мазков и еще неотработанного цвета, пока просматривались лишь его смутные очертания, разобраться в которых старухе было не под силу, она была довольна и поощряла сына почти восторженными возгласами. Но как

только кисть в руке сына начала забираться все глубже, а ее жесткий волос точно бритвой снимал поверхностный слой изображения, как только краски стали блекнуть под пронизывающим взглядом художника, Регина, глядя на женщину в черном шелковом платье, которая возникала на полотне, становилась все беспокойней. И чем больше кисть, смоченная скипидаром, смывала с лица все наигранное, деланное, базарное, позерское, вскрывая под толстым слоем румян подспудные тайны, чем безжалостней, словно анатомическим ножом, скальпировалось тщательно скрываемое лицо, тем сильнее портилось у нее настроение. Регина стала нервничать, ее начали мучить послеобеденные мигрени, она под разными предлогами уклонялась от сеансов и, наконец, однажды утром, когда Филипп, прежде чем взяться за кисть, закурил свою первую сигарету и углубился в свое полотно (которым он уже увлекся), совсем позабыв про мать, Регина открыла рот, хотела что-то сказать, но смогла пролепетать лишь несколько невнятных слов и разрыдалась искренне и горько.

Филипп попытался объясниться. Начал говорить о субъективном видении художника, но почувствовал, что слова его звучат фальшиво.

Мать, не в силах овладеть собой, надтреснутым голосом обиженно говорила:

— Ужасно, что сын, единственный сын может видеть свою мать такою! Ужасно!

Тогда Филипп сложил кисти в кассету, отнес незаконченный портрет в свою комнату и поставил за шкаф лицом к стене. На этом все и кончилось.

* * *

Окружение его светлости Сильвия Лиепаха Костаньевецкого нервничало все больше и больше. И его светлость великий жупан, и его сестра Элеонора, вдова советника бана, и ее дочь Медика, и доктор Тасилло, его благородие Пацак-Криштофи, племянник капитульского епископа Силивестра Криштофи, у которого отец Филиппа служил лакеем, — все эти люди приходили сюда, под этот костаньевецкий кров, будто к себе домой и вели себя здесь, как в собственном доме. Филипп смотрел, как они жуют фарфоровыми зубами, как беседуют о новейших гомеопатических средствах, о веронале, о музыке, о спиритизме, об антропософии, и минутами ему казалось, что все это ему снится. Почему он попал сюда, почему именно эта гнилая крыша должна была стать для

него так называемым «родительским кровом»?

Ее светлость урожденная Лиепах Костаньевецкая, вдова банского советника, госпожа Рекетти была дамой консервативной, ее вкусы и привычки определялись модой девяностых годов девятнадцатого века; она жила в мире старомодных корсетов на китовом усе и вазелин считала единственным косметическим средством. С испитым лицом, несоразмерно высокого роста, с выпяченной нижней челюстью, в старомодных белых чулках, ее светлость жила точно чахлая тень в ярком красочном мире: в мире вечной красоты и непостижимого блеска короля Людовика Баварского, который ночью скакал как бешеный по лесу в сопровождении факельщика. Она разглагольствовала о Казальсе, о бессоннице, об удивительных спиритических сеансах, а в душе ее мучил страх, что она больна раком. Ее супруг, господин советник бана, его благородие Рекетти умер от рака три года тому назад, пять лет она была всецело занята тем, что прислушивалась, как рак пожирает тело господина советника бана, ей казалось, что все — зубы, газы и биение сердца — не что иное, как отвратительный и непонятный рак, пожирающий самого себя от начала и во веки веков. Облысевшая в прошлом году от рожи

госпожа советница носила великолепный парик, черный, как вороново крыло, а на шею надевала черную бархатную ленту. И вот такая костлявая и необычайно длинная особа разгуливала по комнатам, точно огородное пугало. Она непрестанно глотала лекарства и, как старый ворон, каркала, что умирает от рака.

Она знает, что ей осталось жить считанные минуты, ведь даже по своим посиневшим ногтям она видит, что рак непрестанно разрастается. Всех кругом подкупили, и люди врут ей в лицо: и доктора и прислуга! (Больше всего на свете она любит кошек.) Она умирает, а ей никто не хочет сказать правду! Все притворяются, хотя она видит их насквозь.

Его светлость господин великий жупан Лиепах Костаньевецкий прожил свои лучшие дни в блеске австрийской империи и потом всю жизнь грезил о далеких «незабвенных временах, которые, видимо, никогда уже не возвратятся».

«Все прежние радости и удовольствия отнял этот безобразный демократическо-материалистический век. Лучше никому не стало, а высокая культура поры Франца-Иосифа повергнута в прах, подобно античному храму на картине Бёклина».

С грустью следя за свершавшимися вокруг него

отвратительными событиями, его светлость плакал над своими обветшалыми реликвиями, из коих самым замечательным было тисненное золотом приглашение на парадный дворцовый обед по случаю августейшего пребывания Его Величества Цесаря и Короля в нашем главном городе и столице Королевства в тысяча восемьсот девяносто пятом году, октябре месяце. Пожелтевшую вырезку из газеты «Народне новине» от четырнадцатого октября, где были перечислены присутствующие на торжественном обеде лица и где среди графов, принцев, сановников и епископов был упомянут и его светлость господин великий жупан Сильвий Лиепах Костаньевецкий в качестве одного из сановных лиц, он хранил как драгоценнейшую и достопамятную реликвию в шкатулке, обтянутой сиреневым бархатом. Картина парадного обеда в большом зале банского дворца неизгладимо и навеки запечатлелась в памяти Сильвия Лиепаха, как на сургуче — августейшая печать с тремя инициалами цесарского титула.

Слева от Его Величества сидел его высочество эрцгерцог Леопольд Сальватор в форме артиллерийского полковника с орденом золотого руна, потом его светлость камергер, кавалерийский

капитан Сабадхеги, затем Его Высокопревосходительство премьер-министр королевства Венгрии барон Банфи, потом действительный тайный советник, церемониймейстер двора граф Пеячевич, а справа Его Высокопревосходительство бан граф Куэн-Хедервари, за ним действительный тайный советник министр Feldzeugmeister[7] барон Фейервари, и в этой славной свите графов, губернаторов, министров, камергеров, действительных тайных советников и рыцарей золотого руна, в избранном кругу епископов и столоначальников бана, флигель-адъютантов, верховных церемониймейстеров, магистров и придворных, в блестящем окружении членов магнатского дома и прочих низших законодательных органов, там, за августейшим столом, среди блеска золотых блюд и хрустальных бокалов, в качестве верноподданного представителя Коранско-Глинской жупании сидел и великий жупан Сильвий Лиепах Костаньевецкий, сорок седьмой по ранжиру, напротив верховного кухмистера двора графа Волькенштейна и между директором королевских железных дорог Венгрии фон Людвигом и генерал-майором графом

---

[7] Примечания: 7
Артиллерии *(нем.)*.

Вурмбрандтом.

В промежутке между двумя дворцовыми охотами, после того как в Конопиште были застрелены сто шестьдесят два фазана, семьдесят три зайца, три диких кабана и одна лань, и прежде чем уложить сорок три оленя и семнадцать серн в Ишле, Его Величество, по дороге на скорый поезд, посетил, подобно сказочному полубогу, площадь Святого Марка и протянул свою царственную десницу августейшего помазанника иерусалимского его светлости господину Сильвию Лиепаху Костаньевецкому и тем облагодетельствовал сего благородного смертного на всю жизнь.

Сидит господин Лиепах Костаньевецкий над своей бархатной шкатулкой и перебирает милые сердцу драгоценные реликвии. Вот номер газеты «Народне новине» о его назначении жупанским письмоводителем с высшим окладом:

> *«Бан Королевства Хорватии, Славонии и Далмации повелевает именовать отныне доктора Сильвия Лиепаха Костаньевецкого жупанским письмоводителем».*

Обломок давней, мертвой эпохи, Сильвий Лиепах, в ту пору молодой жупанский письмоводитель, стоял у порога жизни, через которую

прошел точно через анфиладу освещенных комнат, а теперь вот перелистывает бумаги и пожелтелые газетные вырезки, а все уже осталось позади, как тень за всадником. В тот день, двенадцатого июля тысяча восемьсот восьмидесятого года, в отделе происшествий газеты «Народне новине» была отмечена смерть новорожденной, еще не крещенной девочки. Поскольку ребенок, согласно заключению городского лекаря, был, вероятно, задушен, то мать, служанка Мария Церич с Месничкой улицы, арестована. В тот день это было единственное происшествие в столице королевства. Хроника сообщала, что граф Юксель-Гилленбанд-Краненштейг, кавалерийский генерал, прибыл в город и остановился в гостинице «У царя», а среди объявлений о ввозных пошлинах и городских налогах было напечатано, что некий жупанский письмоводитель готовится к блистательной карьере. А когда он был назначен великим жупаном, «Народне новине» посвятили ему целую статью под заглавием: «Карьера доктора Сильвия Лиепаха Костаньевецкого».

«Только что назначенный великим жупаном Коранско-Глинской жупании

доктор С. Л. родился третьего августа 1856 года в Загребе от отца Сильвия Липаха, дворянина-помещика. Окончив юридический факультет в Вене и защитив докторское звание, молодой доктор добровольно отслужил один год в цесарско-королевском пятом уланском кавалерийском полку в Вировитице и в 1879 году поступил в качестве практиканта-письмоводителя в Загребскую поджупанию на государственную службу. В том же году С. Л. был назначен поджупанским письмоводителем, спустя год — помощником уездного начальника, а еще через год назначен жупанским письмоводителем с высшей ставкой, согласно указу королевского конституционного хор. слав. правительства. С того времени С. Л. служил в конституционном правительстве Хорватии в качестве письмоводителя первого класса, а с 1889 года — секретарем конституционного правительства, в качестве которого оставался до смерти отца, блаженной памяти помещика Костаньевецкого. Семейные обстоятельства вынудили С. Л.

отказаться от государственной службы и посвятить себя управлению имением, представлявшим собой значительное и образцовое хозяйство. Отставка его благородия Сильвия Лиепаха согласно высочайшему указу была принята в октябре того же года.

Однако в связи с кончиной его преосвященства господина Лентулая, аббата и депутата от Лоньскопольского округа, вследствие чего освободилось место в саборе, господин доктор Лиепах согласился выдвинуть свою кандидатуру и на выборах 1894 года, второго декабря, был единогласно избран депутатом в сабор Королевства Хорватии, Славонии и Далмации. В качестве депутата (С. Л. был избран единогласно семнадцатью избирателями[8]*. — Примечание автора.) он, разумеется, примкнул к Народной пар-*

[8] Примечания: 8

С назначением баном Хорватии графа Куэна-Хедервари (1883—1903) в ней был введен режим «твердой руки». В частности, избирательным правом стали пользоваться всего лишь шесть-семь процентов мужчин.

тии[9]*, где вскоре начал играть одну из главных ролей, особенно после того, как с блеском выступил на предварительном обсуждении бюджета этого года.*

Пользуясь еще со времени своей административной службы репутацией отличного, корректного и честного руководителя, С. Л. был провозглашен великим жупаном Коранско-Глинской жупании как человек, пользующийся особым доверием Его Высокопревосходительства бана, который лишний раз доказал, что у него верный глаз и он удачно выбирает своих ближайших помощников. Его светлость господин Лиепах Костаньевецкий находится в полном расцвете сил и, конечно, своим тактом, необычайной старательностью и преданностью постоит на новом посту за честь народа и страны, которым служит и которые оказали ему такое доверие».

«...с блеском выступил на предварительном

[9] Примечания: 9

В 1873 г. Народная партия признала хорватско-венгерское соглашение 1868 г., по которому Хорватия была отдана под власть Венгрии, и объединилась с партией унионистов (мадьяронов).

обсуждении бюджета этого года» — эта незначительная сама по себе фраза из «Народных новин» произвела в карьере господина Лиепаха крутой поворот. О том же самом предварительном обсуждении бюджета была напечатана статья в «Pester Lloyd» за подписью Л. П. (лоньскопольский помещик) — «von einem Großgrundbesitzer aus l.-p.». Никто никогда об этом не говорил, но все знали, что подписанную буквами «Л. П.» статью написал сам костаньевецкий помещик. В ней, кроме лестного эпитета «опытного руководителя», Лиепах получил титул «признанного авторитета в конституционном праве». В этой пресловутой статье, перепечатанной затем некоторыми оппозиционными газетами, помещик Лиепах развивал свои «научные» конституционные идеи.

«Мы живем нынче в мире фикций. Говорим «Хорватия», когда эта страна вовсе не Хорватия и стала так называться лишь с конца прошлого столетия; мы говорим «Славония», хотя она тоже не Славония, а с тех пор, как существует королевство Венгрия, такая же венгерская земля, как, скажем, Бихар или Сабольч — эти составные части Вен-

грии. И с такими псевдогосударствами мы ведем переговоры, как государство с государством, утверждаем постановления, никчемность которых давно уже доказана, которые противоречат нашим указам и законам и против которых восстают наши научные представления, основанные на доказательствах признанных авторитетов».

«С блеском выступивший» автор анонимной статьи в «Pester Lloyd», лоньскопольский и костаньевецкий помещик Лиепах был провозглашен великим жупаном, и перед ним открылись широчайшие перспективы. И в том, что он не стал подбаном, виновата лишь его супруга Элеонора, которая во время августейшего приема на народном гулянье в Хорватском Соколе из гонора отказалась при всем честном народе подать руку ее светлости супруге бана Маргите Куэн-Хедервари, оскорбленная тем, что ее, супругу великого жупана, урожденную Сомсиш де Гадово ет Туроч, по ее глубокому убеждению, обошли в ранге на семь мест. В ряду знатнейших, пресветлых и высокородных дам, которые должны были представлять перед Ее Величеством элиту города,

госпожа Сомсиш стояла двадцать четвертой, а не семнадцатой. Когда же она подошла к ее высокопревосходительству графине Куэн, чтобы объяснить ей, как жене бана, это явное недоразумение, та оставила ее интерпелляцию без всякого внимания, словно ее и не было. И все стало ясно!

Жена бана, графиня Куэн-Хедервари — а род Хедервари ведет свое начало с тысяча триста шестьдесят первого года, — графиня лихтенбергская и баронесса новоленбашская с тысяча пятьсот семьдесят третьего года, владетельница Нуштра, Хедервара и Вице, урожденная графиня Телеки, по линии древнего венгерского дворянского рода, признанного королем Сигизмундом более пятисот лет назад, и находящаяся под особым покровительством цесаря и короля, стоит у балюстрады с баронессой Инкеевой, урожденной Людмилой-Теодорой-Марией-Габриэллой графиней Деймовой, дочерью чешского графа Франца де Пауля-Марии-Захария-Антона-Вензеля Дейма и графиней Марией де Лафонтен и Д'Армонкур-Уверзагт, и с графиней Юлианой Драшкович-Эрдеди, супругой господаря Тракощанского, дамой ордена большого креста со звездой, и с дочерью

командора ad honores[10] королевского баварского ордена святого Юрия, Эрдеди Штакоровецкого, и тут вдруг незваной подходит к ней «so eine hergelaufene Schlawoniterin, und spricht sie an, in einer Art und Weise»[11], так что жена бана и на могла поступить иначе. Да и церемонию приема устанавливала не Ее Высокопревосходительство супруга бана, а главный дворцовый церемоний-мейстер, и потом «was will diese Person, wer ist sie eigentlich, und was ist eine Obergespansgattin? Lächerlich!»[12]

Когда в конце аудиенции жена бана, прощаясь с присутствующими дамами, подошла к «двадцать четвертой» и протянула ей руку, эта выскочка, «двадцать четвертая», отказалась подать руку графине Маргите, вследствие чего разразился скандал, далеко превзошедший скандал со сжи-

---

[10] Примечания: 10
Почетным *(лат.)*.

[11] Примечания: 11
Какая-то славонка, без роду и племени, и заговаривает с ней самым невозможным образом *(нем.)*.

[12] Примечания: 12
Что надо этой особе, кто она, собственно, такая, — подумаешь, супруга великого жупана? Смешно! *(нем.)*

ганием венгерского флага[13].

— Я был сорок седьмым, а тебе мало быть двадцать четвертой! — возмущался Сильвий Лиепах, объясняясь с женой после происшествия и отлично понимая, что его корабль идет ко дну.

Его Высокопревосходительство господин бан, который назначением его светлости господина Лиепаха великим жупаном «лишний раз доказал, что у него верный глаз и он удачно выбирает своих ближайших помощников», покончил со своим помощником после этой сцены очень быстро: великий жупан Сильвий Лиепах уехал на рождественские праздники в Костаньевец и больше оттуда уже не выезжал. Здесь на троицу, перед самой войной, он пережил скоропостижную кончину своей супруги Элеоноры Сомсиш (от воспаления слепой кишки), здесь же он оплакал и смерть своего единственного сына поручика Сильвия, павшего в знаменитой конной атаке под Равой-Русской в пятнадцатом году в составе цесарско-королевского пятого уланского полка… Дожил и до того, что, полуголый, в ночной рубахе и кальсонах, смотрел, как «босяки» жгут его

[13] Примечания: 13

В 1895 г. во время посещения Хорватии Францем-Иосифом учащиеся и студенты в знак протеста против режима Куэна-Хедервари сожгли на главной площади Загреба венгерский флаг.

костаньевецкий дом, как выборщики демократов отдали «босякам» четыреста ютров лучшей его пахотной земли. И вот сейчас он бедствует и мучается в Костаньевце, по горло в долгах, терзаясь сомнениями, не прогонит ли его в один прекрасный день Якоб Штейнер, и не закончит ли он свою жизнь под забором, как бездомный пес. (Предположение матери Филиппа насчет того, что «эти Костаньевецкие зарятся на ее трехэтажный дом», по всем данным, было далеко не так уж необоснованно.)

Сильвий Лиепах Костаньевецкий терялся в хаосе событий и вещей: улавливать жизненный темп ему становилось уже не под силу. Грезя над своими реликвиями и ценными бумагами, он раскладывал бледно-голубые облигации австрийской серебряной ренты и закладные австрийского кредитного банка как игральные карты каких-то фантастических, древних и давно забытых игр: теперь все эти внушительные и солидные бумаги, подобно старым и затасканным игрушкам, никому не нужны, так же как и все эти подписи директоров, министров и сановников былого царства, которое сейчас лежит в нафталине вместе с его венгеркой! Сколько он мучился, создавая великожупанский аппарат в восьми-

десятые годы! Где они, все эти телохранители, подхалимы, слуги, писаря, аспиранты, дипломанты и абсольвенты, толпами дефилировавшие через его приемные? В какой кромешной тьме сгинули те времена, когда по всем жизненным артериям королевства, по железным и шоссейным дорогам, в учреждениях пенилось банское шампанское, когда закладывались основы унионистского правительственного аппарата[14] и когда «незаинтересованные идеалисты» действительно стремились поднять наше несчастное «крестьянское быдло».

«Хоть немного избавить народ от холеры, от болот, от наводнений. А эти скоты и паразиты отблагодарили тем, что ворвались к нему в имение и подожгли! Eigentlich unfassbar![15]»

В восьмидесятые годы молодым джентльменом и венским доктором он много внимания уделял своему гардеробу. Его Chesterfield[16] с обрубленными отворотами элегантно спадал тремя складками, перехваченными в талии,

---

[14] Примечания: 14
Куэн-Хедервари опирался на Народную партию.

[15] Примечания: 15
Действительно непостижимо *(нем.)*.

[16] Примечания: 16
Длинное пальто особого покроя *(англ.)*.

клетчатые брюки первоклассной работы венских портных, шведские остроносые ботинки, цилиндр — все в этом молодом магнате выдавало человека, умеющего одеваться со вкусом. Его черное пальто тех времен еще до сих пор является существеннейшей частью его гардероба, а его фраки, Wales-kamgarn-havelok[17], венская визитка висят в полном порядке в шкафах и раз в две недели проветриваются, хотя среди этого старья были и такие вещи, к которым он не прикасался лет сорок.

Почти ежедневно Сильвий Лиепах приходил в гости к своей приятельнице госпоже Латинович-Валенти (матери Филиппа) в светло-сером костюме, светло-кремовых гетрах и с дорогой тростью с набалдашником из слоновой кости, в ярком галстуке и ослепительной белизны воротничке и манжетах, сильно напоминая серый манекен из старинного журнала. Тщательно умытый, совершенно седой, чисто выбритый, еще довольно подвижный, он вовсе не внушал антипатии, но Филипп никак не мог примириться с его присутствием.

Прежде всего его раздражало то, что фамилию

[17] Примечания: 17

Уэльская шевиотовая накидка без рукавов, названная в честь английского генерала Гавелока (1795—1857).

матери, мадам Латинович-Валенти, старик произносил отчетливо, громко и церемонно, словно это было известное в свете имя какой-нибудь знатной особы, делая особое ударение на второй части фамилии — Валенти, которую носил брат Регины, австрийский фельдмаршал-лейтенант. В свое время Сильвий Лиепах был с ним знаком, бывал в его доме и чувствовал себя там преотлично. Кроме того, Филиппу казалось, что старик знал его мать еще с мрачных епископских времен, и потому ему было известно о ней гораздо больше, чем Филиппу, и он мог судить о ней, располагая совершенно неизвестными ему фактами.

Все на старичке было зализано помадами и фиксатуарами, все, кроме рук. Руки этого человека выглядели так, будто им осталось жить считанные минуты. Необычайно чувственные, загребущие, себялюбиво дрожащие руки старого бонвивана алчно тянулись к вещам, словно хватались из мрачной преисподней за жизнь. Как жадно грел он свои бескровные ладони на теплой фарфоровой чашке с чаем, как похотливо касался рук Регины (не стесняясь посторонних людей)! С какой жадностью он скручивал свою сигарету и облизывался, вставляя ее в мундштук из слоновой кости, — все это отталкивало и нестерпимо

раздражало Филиппа. Жизнь костаньевецкого дома стала восприниматься им как что-то нереальное: здесь над могилами, вокруг могил велась какая-то нечистая, нездоровая игра, полная мути и лицемерия. Трехэтажные дома и пошлые венские анекдоты, чай, ужины — игра велась скрытно и расчетливо, и лишь иногда из нее прорывалась, словно из старой прохудившейся посудины, болезненная и грязная человеческая похоть.

Сильвий Лиепах приходил перед сумерками, когда пили чай, потом ужинал и обычно оставался до глубокой ночи. Рассуждали о спиритизме, о покорности и любви к господу богу, о каком-то высшем, известном лишь старым людям, смирении, благодаря которому все страсти и порывы выглядят довольно смешными. Вспоминали далекую молодость с ее заблуждениями, говорили о собаках, кошках, прислуге, об одежде, о кухне и о концертах; о важности пищеварения у собак, о собаках вообще говорили очень много, а также о том, как неблагодарны слуги. О болезнях уха и горла, о непонятных покалываниях в сердце, о примочках алтея и диете. Учтивая, лживая и однообразная болтовня тянулась бесконечно, а когда он уединялся с Региной в ее комнате, там

надолго воцарялась мертвая тишина. Вернувшись как-то вечером домой неожиданно, Филипп проходил через сад, мимо Регининого окна, ветерок шевельнул занавес, и он увидел в полумраке свою мать на коленях старого Лиепаха. Филиппа стошнило, он в тот же вечер хотел собраться и уехать, но все-таки остался. Он старался обуздать свою чрезмерную щепетильность; крайняя его стыдливость всегда казалась ему самому ненормальной. Касаясь женщины, с которой он был в интимных отношениях, он каждый раз делал над собой усилие: открытое касание рук представлялось ему верхом бесстыдства.

«Глупо. Ведь жизнь стариков, как и прочих людей, не что иное, как проявление пола. Инстинкт, который влечет человека к продолжению жизни! К бытию! К продолжению бытия! Осуждать этот инстинкт у стариков, не осуждая его у молодых, нелогично!»

Но логика логикой, а в душе он все-таки никак не мог примириться со стариком. Лиепах же, чувствуя в пришельце возможного противника, проявлял к нему трогательное внимание. В течение двух месяцев он постоянно приглашал Филиппа к себе в костаньевецкую усадьбу, чтобы показать свои книги, свою коллекцию оружия,

фамильные портреты, которые бы следовало обновить, но, к сожалению, он плохо знает, как за это взяться. Два месяца Филипп уклонялся от посещения.

У Лиепаха была как будто бы очень дорогая копия Пальмы Веккьо, а поскольку представился случай продать ее в городе, он снова попросил Филиппа зайти и оценить ее. Впервые со времени возвращения Филиппа между ним и матерью возник весьма ожесточенный (и почти неприличный) спор. Филипп уступил и на следующий день после обеда отправился в усадьбу.

Так называемая костаньевецкая усадьба состояла из уютного двухэтажного дома, построенного в свое время на опушке леса для управляющего имением Краненштейга, а сам костаньевецкий замок Краненштейгов — огромное стокомнатное здание — одиноко высился на горе в трех километрах от первого, господствуя над окрестностями, точно крепость с подъемным мостом и башней. Купив усадьбу еще в семьдесят пятом году, уже в весьма обветшалом состоянии, Лиепахи обновили ее, посадили вокруг тополя и березы, придав, таким образом, двухэтажному дому весьма пристойный вид с подъездом для экипажей и верандой на втором этаже. Дом уто-

пал в зелени парка.

Старый Лиепах ждал Филиппа, прогуливаясь возле молодых саженцев перед домом, и встретил его с распростертыми объятиями, как старого и доброго знакомого, который своим посещением оказывает ему не только большую честь, но и необычайную услугу. Пройдя через весь нижний этаж, декорированный старыми ларями, парчовыми занавесями и церковными люстрами, они поднялись на веранду. Туда Доминик подал чай со сливками, шоколадный торт с кремом и дыню. Эти два старика — один в потертой ливрее кофейного цвета, в огромных белых перчатках, сплющенных, как лапы старой черепахи, а другой — в светло-сером костюме свободного покроя, обращавшийся к Доминику на «ты», в то время как тот величал его «ваша светлость», чай, сливки, дыня — все производило впечатление страшной несуразности.

Пальма Веккьо оказался, разумеется, плохой, а семейные портреты вообще не имели никакой ценности — работа восьмидесятых годов в нарочито архаизованной манере, дабы род Лиепахов казался более древним. Библиотека была совершенно безликой и неинтересной; три переплетенные в кожу ежегодника «Ephemerides

politico-statisticae Posonienses»[18] представляли единственную редкость. Подчеркнуто, с преувеличенной торжественностью старый Лиепах взял переплетенный в свиную кожу ежегодник информационного пожунского журнала и, патетически раскрыв его на странице, заложенной красной муаровой лентой, спросил:

— Если вас развлечет один курьез, то я позволю себе просить оказать мне честь и уделить минуту внимания весьма важному для нашего рода обстоятельству: объявление о возведении Лиепахов в дворянство в тысяча восемьсот восемнадцатом году.

В самом деле, под датой пятого декабря тысяча восемьсот восемнадцатого года было напечатано следующее:

> «Majestas ssma d. Antonium Liepach ad exc. cameram Hungarico-Aulicam rationum consultorem ob praeclara ultra 40 annorum in regem et patriam merita una cum filio itidem Antonio bellico, concipista in numerum r. Hungariae nobilium referre

[18] Примечания: 18
Пожунский периодический политико-статистический журнал *(лат.)*.

dignabatur»[19].

На заглавной странице этого пожунского вестника, под серым оттиском полуголой символической женщины в облаках с книгой и крыльями на голове, красовалась каллиграфическая роспись первого дворянина из рода Лиепахов, выведенная гусиным пером необычайно четким, педантичным почерком: «Antonius Liepach, nobilis in Monarcham et Patriam meritissimus»[20].

А поверх этого стояла надпись карандашом, совсем выцветшая, видимо, сделанная женской рукой: Флосманн, «Лотерейное попурри». Зайц, «Буассийская ведьма».

«Глупо, как это «Лотерейное попурри», — думал про себя Филипп, глядя на выцветшее печатное сообщение о даровании дворянской грамоты Лиепаху и не зная, что сказать этому старому рыцарю голубой крови, которому судьба предназначила быть одним из последних ухажеров его матери.

---

[19] Примечания: 19

Его Величество — г. Антонию Лиепаху, советнику славной венгерской дворцовой счетоводной канцелярии. За достойные заслуги перед королем и отечеством и сорокалетнюю службу Его Величество удостоил вас вписать вместе с сыном Антонием, военным делопроизводителем, в число дворян Королевства Венгрии *(лат.)*.

[20] Примечания: 20

Антоний Лиепах, дворянин, отмеченный по заслугам Монархом и Родиной *(лат.)*.

На стене, над книжным шкафом, в золоченой раме под стеклом висела красочная олеографическая репродукция знаменитой картины Бенцура «A milleniumi Hódolat»[21] — сословия и чины королевства Венгрии, Хорватии, Славонии и Далмации приветствуют Его Величество, венгерского короля, по случаю тысячелетия Венгрии в пышном зале Будского дворца. Среди толпы в магнатском одеянии стоит рыцарь золотого руна граф Куэн-Хедервари, дворцовый знаменосец королевства. Тут же в лиловых переливах прелатских и епископских мантий, в конфетном румянце парчовых ширм и кардинальских перчаток, в колеблющемся море знамен, штандартов и цилиндров отчетливо выделялось бледное лицо в бозе почившей царицы Елизаветы под балдахином в черном платье, а у ее ног на полу распростерлось и знамя Хорватии в пафосе тысячелетней преданности Суверенам.

«Этот одряхлевший господин держит в своей библиотеке Бенцура и хочет со мной говорить о живописи», — было единственным ощущением, неясно замаячившим где-то в глубинах сознания Филиппа. Он перелистывал «Пожунский

---

[21] Примечания: 21
Прославление тысячелетия *(венг.)*.

журнал», рассматривал темперу на потолке и не знал, что сказать этому болтливому старику, который засыпал его словами и признаниями: что он, мол, читал одну из книг Филиппа, что ему известен тот большой успех, который Филипп имел в Лондоне, что подписать контракт с ежедневной столичной газетой дело немалое, а тем более завоевать такое положение за границей одному, без всякой поддержки!

Предоставляя старику мучиться от неловкости, Филипп бормотал что-то невразумительное, словно разговаривал с иностранцем, потом внезапно встал и распрощался. Все получилось страшно бестактно и глупо. Идя домой, он ощущал во рту неприятный вкус, точно поел испорченного мяса.

«Черт их дернул приехать именно сюда, в Костаньевец», — думал Филипп о Лиепахах, спускаясь по вьющейся серпантином пологой дороге от леса к винограднику, лежащему у равнины, уже залитой ранними предвечерними сумерками.

«Чем такой старый чудак по складу ума отличается, скажем, от старшего дорожного мастера Гитрица? У мастера Гитрица в комнате под матицей висит в золотой раме такая же красочная

литография: «Aus meiner Dienstzeit»[22]. Да разве этот намалеванный улан в синем мундире с приклеенной физиономией Гитрица, командир взвода двенадцатого цесарско-королевского уланского полка в Толне, ныне старший путевой мастер — на вздыбленной белой кобыле, с саблей наголо, под императорским гербом и под знаменами Австрии и Венгрии, не такой же манекен, как и его светлость великий жупан со своим бенцуровским мифом в золотой раме? Все это сплошной мрак. И его могут рассеять только Ниагарский водопад света и фаланги новых невиданных людей, но не Лиепахов и не подобных Лиепахам дворян тысяча восемьсот восемнадцатого года. Такая интеллигенция лишь записывает «Лотерейное попурри» как дорогое музыкальное воспоминание о каком-то событии в искусстве, а старого Доминика держит в ливрее и продолжает играть свою роль, будто ничего на свете не случилось».

Всю ночь в голове у Филиппа звучали речи старого Лиепаха о том, что в его время ароматические карболовые эссенции употреблялись как универсальное дезинфицирующее средство, и

---

[22] Примечания: 22
«Из времен моей военной службы» *(нем.)*.

о том, что не стало в продаже захерлина, о том, что жупанская административная система была лучшей в мире системой — «ее даже англичане ввели в колониях, эту венгерскую систему...», и так Филипп мучался долго и никак не мог уснуть. Над лесом уже появились первые пятна рассвета, и перепел забил в пшенице, когда он бросил свою последнюю сигарету.

* * *

Была теплая летняя лунная ночь. Просидев до полуночи в кафе «У короны», перелистывая «Daily Mail» и другие иностранные иллюстрированные журналы, Филипп допил пятую рюмку коньяку с содовой, расплатился и вышел в зеленый, освещенный луной простор. Он чувствовал себя легко, ноги сами несли его, и хотелось идти куда-нибудь далеко-далеко — в тишину. У него была просто физическая потребность уйти от людей, остаться наедине с колышущимися деревьями и мирными зелеными далями.

Когда-то давно, двадцать три года тому назад, в такую же летнюю ночь, он тоже брел один по бесконечному белому шоссе, и роса сверкала по обочинам, как стеклярус. Стояла теплая летняя ночь, пахло сеном, юноши танцевали вальс с

девушками в белых платьях. Пахло сеном, и все были пьяны и от этой ночи, и от музыки, и от сумерек, и от гибких девичьих тел. Молодость — чистая, как капля росы в росистую ночь, легкая, как ночной ветер в вершинах деревьев! Дали были светло-зеленые, прозрачные, и звездная гладь сверкала фосфорическим блеском и казалась совсем близкой, словно до нее рукой подать! И смех, и девичьи голоса, и темные силуэты сопровождающих дам, и маленький городок с балконами, барочными яблоками на звонницах и распахнутыми окнами домов, в которых полощутся белые занавески, — все осталось позади. Касание теплых тел, движущихся в белом лунном свете под журчание ручья и шум черных деревьев, в которых слышится легкое хлопанье крыльев, превратило его в жаркий ком плоти; Филипп шел, упоенный музыкой, близостью женщины, почти еще девочки, и сам еще ребенок, обуреваемый детской радостью. Так в ту роковую ночь он обрек себя на пожизненную пытку, затеяв глупый роман с наивной юной провинциальной гусыней, из-за которой тогда прокутил материнскую стодинарку и загубил свою молодость!

«Как удивительно в нас это слепое брожение неведомых сил — мы словно таинственные

гальванические элементы, живущие по непостижимым и темным законам плоти. Забродит что-нибудь этакое в семнадцатилетнем мальчишке, — и вот точно вдруг жребий выпадет, — какая-то драная кошка, конопатая, пустая девчонка становится его судьбой, к которой он потом всю свою жизнь прикован, как каторжник к тачке».

Задумавшись, Филипп сошел с шоссе и зашагал вдоль ручья по мрачному, сырому ущелью, полному испарений и влаги. Скоро он оказался на опушке дубового леса. Там, под сенью чернолесья и огромных, темных сосен, стояла избушка с соломенной кровлей, белая, как полотно на лугу, залитая щедрым лунным светом, точно известкой.

Филипп остановился. Все вокруг было недвижимо и тихо. Одна лишь ночная темнота да отчетливые удары сердца в горле от быстрой ходьбы по неровной местности. В мертвой, зеленой тишине из-под соломенной стрехи избушки разносится запах кислого кукурузного хлеба, задымленных горшков и чада, слышится тиканье часов — тихий, однообразный ход деревянного механизма с тяжелой, заржавелой железной шишкой на цепочке.

Тик-так, тик-так…

Тишина и приятное, мудрое, печальное течение времени, точно клокотание клепсидры. Белые квадраты стен избушки под соломенной стрехой, далекий говор ручья и шуршание крыльев птицы, проснувшейся на верхушке дерева, — все волновало Филиппа сильно и глубоко. В далеких, зеленых, блестящих тканях зрелой летней ночи плыли небесные светила; Филипп дышал спокойно и свободно, видя определенную логику в том, как течет в его жилах кровь и как кипят в нем свежие, нерастраченные силы. Он чувствовал, что постепенно преодолевает ипохондрию и к нему возвращается душевная энергия.

Сегодня, после долгого перерыва, он написал новую картину. Искупавшись в реке, он шел в полдень домой. Неожиданно он увидел на фоне оштукатуренной стены ребенка. Мальчик стоял на припеке, повернувшись к солнцу, и его тень падала на стену; он развел руки в стороны и что-то нечленораздельно мычал своим детским голосом. Сцена была жуткая. Филипп тотчас понял, что ребенок глухонемой, в его страшных завываниях слышалось что-то животное. Подняв руки, глухонемой, казалось, имитировал голос священника во время службы. Руки его словно благословляли, они поднимались, и тени на стене

походили на каких-то странных необычных змей, которые ползали по стене, живые, гибкие, призрачные, зачарованные, а ребенок кричал истошно, во все горло, надрывно, маниакально, точно в бреду после солнечного удара. И все это напоминало скорее нервный шок, эпилептическую галлюцинацию, чем действительность. Нечеловеческий голос глухонемого мальчика дрожал, вибрировал на ярком свете, расходился кругами от щедро залитой солнцем стены, разливался вширь над кровлей, над колокольней, над аллеей и, точно дым, клубился в небе, придавленный солнцем и зноем.

Весь во власти дьявольского видения, Филипп пришел домой, взял холст и написал мычащего под полуденным солнцем у белой стены глухонемого ребенка. Его голос дребезжал над полотном, точно надтреснутый колокол; грязное, скорченное уродливое тельце, освещенное солнцем, судорожный страх перед чем-то темным и глухонемым и в нас самих, и вокруг нас, вибрацию красных голосовых связок Филипп изобразил на полотне с такой выразительностью, что потом сам испугался демонической силы собственной кисти. Открытый рот с маленьким красным языком, излом залитых слюной губ и бессмысленные

слепые движения рук на солнце, на фоне белой, как творог, стены — все это напоминало Домье, только было еще страшнее!

Филипп пропустил обед и писал до самого вечера. И вот сейчас он стоит, озаренный лунным светом, его окружают звезды, ночные птицы и трепетные кроны деревьев, от волнения по спине пробегают мурашки. Есть еще порох в пороховнице, в жилах еще клокочет сила, а в крови вдохновение! Он живет и чувствует, как это хорошо — жить!

* * *

Возвращались эмоции, одна за другой, возвращались, точно птицы из Египта шумными стаями. Сидит Филипп в сумерках (в соломенном кресле перед верандой), смотрит, как вьются вокруг крыши ласточки, рисуя в воздухе смелые, крутые зигзаги, и размышляет о том, что жизнь, в сущности, — это цепь кровавых и жестоких злодеяний.

«Даже самая идиллическая и почитаемая людьми птица, гнездо которой приносит, по преданию, счастье и о которой дети уже в первых школьных тетрадях пишут восторженные стихи, даже эта маленькая чернокрылая птица, щебечущая

под крышами домов и колоколен, по сути дела ничем не отличается от акулы. Милое щебетание в предвечерних сумерках означает по сути дела грозный сигнал в мире мушек, на которых молниеносный взмах ее крыльев наводит такой же ужас, как на нас рык тигра в джунглях. И так всюду и везде — рычат, плывут, летят и глотают. Акулы кормятся тунцами, тунцы — мелкой рыбешкой, мелкая рыбешка — мухами, ласточки едят комаров, комары несут заразу, и все это переходит одно в другое и борется одно с другим по каким-то совсем уже странным законам — глупо, как в детской басне Эзопа.

Растут грибы под старыми дубами, люди едят эти грибы, а потом, отравившись, по три дня корчатся от боли, как, скажем, отравилась в четверг жена портного Анна, и неизвестно еще, останется ли она жива.

У коров — сибирская язва, все кругом сопатое, ящурное, грязное, больное метилем, все гниет в болоте, у всего есть рога, густая шерсть и мех, один только человек в этом животном царстве гол, как эллинский мрамор, с невиданными и нереальными представлениями о красоте собственного тела и о красоте мира вокруг себя. И все равно вокруг этого голого человека мерцает

загадочный нимб каких-то неизменных человеческих свойств; и можно рассматривать вещи в одной плоскости, в причинной связи явлений, в смене образов, которые рождаются один за другим, как круги на воде от брошенного камня, а можно смотреть и отвлеченно, подобно той старой колокольне, что поет сейчас в Костаньевце свою песню времен Ренессанса о кардиналах и католических церквах. И еще существует паннонское болото, и над ним воздушная трасса: Лондон — Бомбей, и он сам, художник-академик Сигизмунд Латинович, назвавший себя Филиппом и подписывающийся Philippe, приехавший на побывку к матери, бывшей сиделице табачной лавки; а вон там глупый Мишко ведет быка Султана, которого он, Филипп, вывел из горящего хлева, и все это неясно и запутанно; и если вообще есть что-то ясное в происходящем, то это лишь эмоции художника. Воплощение эмоционально воспринимаемой материи в определенные формы, и больше ничего!»

Сидит Филипп в сумерках вечера и слушает, как на трубе соседнего дома аист щелкает клювом, точно кастаньетами, слушает отчетливо доносящиеся голоса пастухов с ручья, где поят скотину, смотрит, как хищно летают вокруг

трубы прожорливые ласточки, и чувствует, как живо и чарующе отражается все это в его душе. Точно птицы, кружатся образы и над ним, и над его похоронным настроением и внутренней подавленностью, и над виноградниками, полями и лесами, что тонут в тяжелой бархатистой зелени старинного дамаста и сливаются с коричневой тканью далей.

По шоссе, по ту сторону живой изгороди и забора, прошли виноградари с опрыскивателями за плечами. У одного из них вдруг ярко зарделась в сумерках трубка, отчего лицо стало кровавым, точно с него содрали кожу. Тихо и неслышно пепельные сумерки поглотили виноградарей в тяжелых, одубелых и позеленевших от медного купороса опанках, точно выкованных из меди. Зеленые медные опанки, удаляющиеся силуэты, притушенные серой пеленой вечера, в красном отсвете горящих трубок — перед Филиппом возникла акварель, пожалуй, слишком мягкая, почти женственная в оттенках, но необычайно богатая красками, просто залитая нездоровыми, пылающими бликами. И все чаще ему всюду виделись картины: озаренные последним румянцем заката три зрелых персика в зеленоватой тарелке с синими цветочками на клетчатой

красно-синей скатерти — яркая палитра угасающего в предвечернем золоте дня; волнующиеся от порывов ветра, созревшие нивы в мирно гаснущем ясном просторе; окровавленные рыбы с огненными жабрами на фоне зеленоватой стены в посеревшей от старости цинковой миске, прикрытой мокрым листом потрепанной газеты, на которой можно еще разобрать расплывшиеся черные силуэты непонятных иероглифов. И листья, и ветви, и щедрые дары солнечных дней, и тихая жизнь за выстиранными скатертями, мелькание бледных, больных лиц, тишина закатов — все просилось на полотно, а за всем этим, точно скрытые серебристо-золотой вуалью, поблескивали беспокойные глаза женщины. В ней видел Филипп причину своего беспокойства, всеми фибрами души чувствовал, что этот наплыв эмоций вызывает в нем женщина с нервными пальцами, хрупким станом и загадочным взглядом живых глаз.

С самого начала, еще в ранней юности женщина приводила Филиппа то в мрачнейшую меланхолию, то в экстаз, и он испытывал то глупый восторг, то отчаяние и, уничтоженный, сломленный, на грани самоубийства, ползал, как раздавленная улитка, лишенная домика,

склизкая, раненая. Утренние мессы, исповеди и причастия в те давно ушедшие дни — все было заполнено мечтами о женщине, как девичьи альбомы — ароматом локонов и фиалок. И те давние исповеди и причастия были первой ложью и первым святотатством, потому что утаивался смертный грех: пылкие мечты о девочках, грешные, безумные мечты о прикосновении тел и о наслаждениях, которые таит лоно этих непостижимо таинственных существ. И во время церковных служб и вечерних молитв, когда маленькие господни причетники, помахивая серебряными кадильницами, несли шелковые, золотом шитые балдахины и хоругви, все было пронизано блудливыми мечтами о величайших тайнах плоти, и эти тайны, словно ядовитые змеи, ползали по первым книгам, по святым картинам, ими были отравлены первые тайные разговоры в темных закоулках дворов и улиц. Епископская церковь с ее сенью, капитульские звонницы, перезвон колоколов на престольный праздник между рождественским и великим постом, а рядом — грязная, навозная, скотская равнина с мордами божьих тварей и гамом коровьих ярмарок, и тут же шныряют гимназистики с непристойными вырезками из календарей и загадочных молит-

венников: то дьявольское наваждение в виде сплетенного клубка блудящих ведьм, то златокудрая Венера в фаустовской реторте, то дивный акт в трехцветной печати, украденный кто знает из какого запертого комода, — спящая голая богиня с лебедем, обольстительно прикрывающаяся изящно согнутой рукой.

Среди изобилия крестьянской варварской равнины — гор капустных голов, тыкв, гороха, масла, зелени, яиц, рыбы, мяса и сала, штабелей жирных кровавых свиных и бараньих туш, тучных рыбин и птицы — живет гимназист, целыми днями он бродит по песчаному берегу реки в надежде разыскать в наносах ила маленькую бронзовую фигурку Афродиты, которая спит, заложив руку под пышные волосы. (Товарищ Филиппа нашел фигурку нагой богини в песке на пляже, и это было самым крупным событием в анналах епископской гимназии за последние пятьдесят лет.)

Вся атмосфера вокруг табачной лавки была нездоровой, повышенно сексуальной, и не удивительно, что в нервном подростке, от природы чувственном, когда он столкнулся с трудной и темной проблемой пола, это породило смятение и болезненно-обостренный интерес ко всему плотскому. Взять хотя бы главный вопрос весьма

деликатного свойства, но для него жизненно важный, который мучает его несказанно все эти годы, но который он так и не отваживается задать матери: кто же его настоящий отец? А то странное и непонятное, что происходило у матери с разными посетителями в лавке на Фратерской улице, за портьерой и ширмой, в удушливых клубах табачного дыма, в тайну чего он так и не проник и что с каждым днем заволакивалось все более плотной пеленой загадочности? Взгляды всего города, эти бегающие глазки мещан, жадно вперенные в грязно-серую табачную лавку, в его мать, и особенно в него — порождение блуда и греха, вызывали в Филиппе болезненное тяготение ко всему блудному и грешному, и в том, что он на глазах у всех отправился в конец Краишкой улицы, в дом терпимости, проявился лишь недюжинный характер юноши, упрямо решившего открыто запятнать себя грязью.

Возле церкви и епископского дворца ползают тени клириков, фратеров, монахинь, черные призраки то появляются на епископской брусчатке, то исчезают, а его мать Регина стоит за прилавком и торгует сигаретами и рогаликами. Входят каноники, офицеры, чиновники, кучера и разговаривают с матерью тоном, который больно

оскорбляет Филиппа, и он так и не может решить, все эти россказни о его матери — дьявольская выдумка или правда?

А дальше — холодные и голодные годы учения к гимназии, бессонные ночи, проведенные в полубреду с пересохшим от жажды горлом, на кишащей клопами койке епископского приюта для сирот. Светло-зеленые стены, тяжелые, кованые решетки в окнах, черное лакированное распятие с бледно-розовым ликом Спасителя и целые вереницы деревянных святых в коридорах — уродливых, в светло-голубых тогах и красных мантиях с бумажными цветами в руке. Филипп лежит с открытыми глазами, смотрит на уныло-размеренное мерцание лампады под потолком и мечтает о Резике. Единственное светлое пятно в этом вонючем доме пыток и клопов — Резика. У нее сильные, налитые, точно отечные, багровые, слоновьи ноги (ходила она босая), шуршащая нижняя юбка и красные, потрескавшиеся толстые руки с засученными выше локтя рукавами. О Резике мечтал весь приют, к тому же, по рассказам прошлых выпусков, она не чуралась любовных утех. Кто знает, где тебя ждет счастье? Надо рискнуть: прокрасться в столовую, оттуда спуститься на лифте и таким авантюристиче-

ским путем добраться до Резикиной комнаты. Филипп встал и босиком, неслышно, прокрался на первый этаж в столовую, где у наружной двери на золотой консоли деревянный святой Иосиф благословлял питомцев епископского сиротского дома. В нетопленой и пустой столовой с липовыми столами, грязными скатертями, залитыми горохом и кукурузной похлебкой, с уже расставленными для завтрака щербатыми солонками и бесконечными рядами тарелок было темно и тихо. Он опрокинул стул, тот свалился с гулким грохотом — так в тишине церкви падает скамейка.

Тихо. С улицы, откуда-то издалека, донесся плач паровоза, стоявшего где-то на открытых путях. Ряды длинных столов, покрытых белыми скатертями, напоминали гробы. Лифт был заперт. Сквозь щели деревянного ящика пробивался свет: монахини уже встали и готовили в кухне мучную похлебку.

Светало. Какой глупой и бесплодной была печаль загоревшегося юноши, запертого в этом сером вонючем отвратном доме! Здесь кормили вываренной говядиной, в вареве попадались и крысы, и старые чулки; наружные стены хлестал дождь; проржавелые водосточные трубы

плакали целыми ночами; пятна сырости и плесени расползались по сводам классов нижнего этажа; чадили желтые керосиновые лампы, и все эти девичьи голоса, движения, шляпки, косы, о которых он грезил, были для него так же недосягаемы, как и теперь. Все его плотские желания оказались во многом надуманными и неосуществленными. Филипп мог грезить о женщине наедине с собой, в теплой постели, но при подлинной близости у него возникало неприятное чувство пробуждения в холодной, вонючей комнате, когда невыспавшийся, босой, сонный и усталый он прыгал по голому каменному полу, под неумолчный вой ветра, играющего на проводах и громоотводах. Он только что видел рядом с собой сквозь полудрему теплую Резику — она стояла над кастрюлей кипящей лапши или склонилась над ведром мокрого белья, неуловимая, как призрак, недосягаемая, но живая, а вот она, действительность: длинные коридоры, пропитанные запахом похлебки (проклятая мучная похлебка с черствым черным хлебом!), хмурое утро, покрытые снегом поля; Филиппа гонят на раннюю мессу, в холодную церковь, где дыхание вырывалось густыми клубами пара и замерзали волоски в носу, а святая вода в кропильницах

превращалась в лед. И надо становиться на колени на холодную молитвенную скамейку и при свете церковной свечки переписывать замерзшими пальцами в полудремотном похмелье после бессонной ночи задачи. Тайна плоти, нездоровая тайна плоти мучает гнилых подростков, а снаружи валит мокрый снег, и по математике его ждет верная переэкзаменовка!

* * *

Старый Лиепах устраивал прием в честь своей доброй приятельницы графини Орсиваль. Приглашена была и Казимира Латинович с сыном. К великому удивлению матери, Филипп принял приглашение. Он знал, что приглашение на этот великосветский раут получила и Ксения Радаева (кассирша «Короны», или, как звал ее содержатель кафе Штейнер, «виртшафтерица»[23]). Бобочка Радаева, бывшая супруга министра Павлинича, поступила в кафе к Штейнеру несколько месяцев тому назад. Ксения со своими седоватыми волосами, хриплым альтом и светлыми, по-девичьи ясными, аквамариновыми глазами явилась главной причиной того, что Филипп не

[23] Примечания: 23
Экономка *(нем.)*.

уехал из Костаньевца в первые же дни. Об этой женщине жители Костаньевца наговорили ему столько плохого и скандального (из-за нее якобы вылетели в трубу несколько банков, она погубила и разорила своего супруга министра Павлинича, она одна виновата в том, что последний ее любовник, адвокат Баллочанский, попал в тюрьму, а жена Баллочанского выбросилась с третьего этажа), что эта таинственная, всегда одетая в черное, дама его заинтересовала. Познакомившись с ней, Филипп с удовольствием стал ходить в «Корону», чтобы поболтать с ней о всяких пустяках и просто посидеть поблизости. Ласковый взгляд ее аквамариновых глаз действовал на него успокаивающе, и потому сидеть в «Короне» за столиком рядом с кассой, листать «Daily Mail» и курить стало его ежедневной потребностью.

Бобочка сама предупредила Филиппа об этом лиепаховском приеме в честь старой графини Орсиваль (ее дальней родственницы по матери) и просила сделать ей одолжение и прийти.

Собралось много незнакомой Филиппу публики, среди гостей самыми шумными были племянник Лиепаха, его благородие Тасилло Пацак и дочь Элеоноры Лиепах, Медика, вдова артиллерийского майора. Эта Медика с такой

назойливостью подчеркивала свою принадлежность к семье его светлости великого жупана Лиепаха Костаньевецкого, ее родного дяди по высокородной материнской линии, что это было и смешно и неприлично. Для нее принадлежать к этому внушительному клану Лиепахов означало прежде всего надежное и безопасное существование; жить под сенью имени Лиепахов было все равно что иметь за своей спиной тяжелые, кованые, с двойными стенками стальные, несгораемые кассы, набитые золотом. Весьма ограниченная от природы, Медика все еще не вышла из-под опеки своей матери, госпожи Элеоноры Лиепах, а та судила о положении Лиепахов по меркам восьмидесятых годов: желудок у всех в порядке (у господ, кошек и собак), никаких особых проблем не возникает, виноград уродил хорошо, трубы не дымят, погреба полны; кофеварка действует нормально, Доминик приготовил домино и карты на ломберном столе; на свет появляются новые Лиепахи с синими глазами; скоро надо ждать свадьбы; молодому письмоводителю жупании Сильвию, по всей вероятности, пожалуют барона. Разве могут быть лучшие перспективы?

Графиня Орсиваль (которую под лиепаховской кровлей — кто знает почему — звали кузиной),

урожденная де Лафонтен-Орсиваль, Дога-Ресса по линии жабокречских де Лафонтенов, была центром костаньевецкого общества. Эта семидесятилетняя дама выглядела всегда отлично, и ни один человек не дал бы ей больше пятидесяти. Когда-то ей принадлежали майораты Галгоце-старьянский, Сёллёшмоньоро-керечский и Шарга-шомловарский, она владела дворцами и поместьями в Жабокрече, Реснице и Грабаре, должна была получить по завещанию и замок Кишассонь-Фабараньский и Нижне-Варадинский, а теперь выброшенная на улицу истеричная, бездомная старуха ходила по званым обедам и, как с равными, вступала в разговоры с содержателем кафе Штейнером и сиделицей табачной лавки Регионой. Но все же в глубине своей высокородной кишассонь-фабараньской души неизменно ощущала, как славный, вековой герб де Лафонтенов и Орсивалей начисто отгораживает ее от всего этого грязного простонародья.

Филипп, получив письмо из Нью-Орлеана, на которое следовало тотчас ответить (он еще год назад послал туда свои эскизы окон кафедрального собора, и вот теперь пришло сообщение, что эскизы приняты), немного запоздал на раут и подоспел как раз в тот момент, когда в саду

разыгрывалась безобразная сцена.

Среди костаньевецких крестьян уже давно ходил слух, будто покойный старый граф Юксель-Гилленбанд-Краненштейг бродит по костаньевецкому замку, а в последнее время его видели и возле лиепаховской усадьбы. Яга, девятнадцатилетняя огородница, в прошлую ночь видела, как он прошел мимо Лиепаховой теплицы. По желанию графини Орсиваль девушку позвали, чтобы она рассказала, как было дело. Графиня чрезвычайно заинтересовалась этим явлением: старый граф приходился ей дядюшкой и ей ужасно хотелось услышать что-нибудь о загробных похождениях своего дражайшего родственника.

Филипп услышал гомерический хохот: общество от души смеялось над Ягой. Девушка стояла в окружении господ, вся красная от смущения, сбитая с толку, готовая вот-вот расплакаться от стыда и подсознательного чувства обиды. Уставившись в землю, она теребила передник и нервно повторяла, что знать ничего не знает, но графа видела, это точно, и ничего больше сказать не может, кроме того, что видела господина графа собственными глазами.

— Man müsste sie fragen, wo sie ihn gesehen hat? Sie soll uns genau angeben, wo sie ihn gesehen

hat[24], — проверещала старая племянница покойного графа Гилленбанд-Краненштейга голосом издыхающего цыпленка.

Тасилло Пацак, племянник великого жупана и хозяина дома, отличный игрок в лаун-теннис, покоритель женских сердец, превосходный танцор и сторонник левых идей, исполнял в этой веселой комедии роль посредника между заикающимся и сконфуженным медиумом и высокочтимым обществом. Он стоял рядом с девушкой и держал ее за руку, чтобы ей было легче отвечать на вопросы.

— Пожалуйста, Яга, будьте умницей! Нам хотелось бы знать, где вы видели его светлость? Скажите, где это произошло? У теплицы, у капеллы, во дворе, на крыльце, где примерно?

Не зная, что ответить и не в состоянии привести никаких фактов, Яга повторила свое первое утверждение:

— Прошу покорно, милостивый государь, я собственными глазами видела его светлость, как вот сейчас вас, и ничего другого сказать не могу! Откуда мне знать, как надо глядеть на духов? Пусть о том ломают себе голову другие, кто поумней и

---

[24] Примечания: 24

Нужно спросить, где она его видела? Пусть она точно нам ответит, где она его видела *(нем.)*.

попонятливей!

— Was sagt sie, ich verstehe kein einziges Wort[25], — снова раздался голос графини, а ее кадык точно живой запрыгал под черной бархатной лентой.

— Sie kann nicht wissen, sagt sie wie man Gespenster schaut! Sie hat den seligen Grafen gesehen, aber wie man Geister eigentlich schauen soll, für das sollen sich kümmern, die solche Sahen besser verstehen![26]

— Может, она смогла бы описать костюм покойного графа, — отозвалась стосемикилограммовая супруга общинного врача, зардевшись от радости, что и она участвует в этой забавной истории.

— Яга, послушайте меня, пожалуйста, вот этой госпоже хотелось бы, чтобы вы нам рассказали, как его светлость покойный граф был одет? — Его благородие Тасилло Пацак наклонился к Яге и прелюбезно ущипнул ее за подбородок.

— На них был длинный плащ с рукавами, красный, как зерно граната, — сказала Яга, неловко и смущенно обороняясь от навязчивого Пацака.

Графиня опять ничего не поняла.

---

[25] Примечания: 25

Что она говорит, я не понимаю ни одного слова *(нем.)*.

[26] Примечания: 26

Она говорит, что не знает, как нужно смотреть на привидения! Она видела покойного графа, но как именно следует смотреть на призраки, о том пусть позаботятся те, кто понимает в этих вещах больше меня! *(нем.)*

— Ich verstehe sie kein Wort![27] — сказала она, точно глухая.

Писклявый голос старухи все больше действовал на девушку. Яга уже начинала чувствовать себя виноватой в том, что не знает немецкого языка.

— Eine Art granatapfelroten Mantel hätte er gehabt mit Ärmeln, Gräfin[28], — сказал Тасилло, повернувшись к графине с таким жеманством (достойным провинциального учителя танцев), что Филипп, который поначалу довольно хладнокровно следил за происходящим, еле сдержался, чтобы не выйти из-за сирени и не отхлестать этого болвана по щекам.

— Ну, хорошо, Яга, — заволновался старый Лиепах. — Вы все нам очень хорошо рассказали, а теперь нам хочется знать, в каком примерно месте вы видели покойного господина?

— Откуда мне знать, милостивый государь! Я видела его светлость собственными глазами, а тут вдруг все кругом потемнело, точно ангел пролетел или дракон. Кажись, где-то возле зыбуна.

---

[27] Примечания: 27

Не понимаю ни слова! *(нем.)*

[28] Примечания: 28

На нем было что-то вроде красного плаща цвета граната, графиня! *(нем.)*

— Wenn wir nur wüssten, was eigentlich dies unglückliche «зыбун» bedeuten soll[29], — прощебетала, закатывая глаза, Медика Лиепах Рекетти де Ретиезат, словно она никогда не слыхала это несчастное слово и словно бы сама не выросла на том же «зыбуне»!

— Eine dumme Gans! Von der werden wir nicht gescheiter[30], — возмутился наконец главный оратор и толкователь спиритического сеанса Тасилло Пацак.

— Яга, знаете, кто вы? Вы настоящая гусыня, писклявая и глупая, чтоб вас черт подрал! Это мы уже слышали: и то, что он был красный и черный и что летел. Но где летел, где? Вот что хотела бы знать ее светлость графиня, понимаете?

— Возле зыбуна, милостивый государь!

Филипп не мог больше смотреть на это издевательство над красной и потной от стыда девушкой, и, хотя понимал, что глупо спорить с этими ограниченными попугаями, чувство жалости к несчастной Яге заставило и его вмешаться в этот дурацкий фарс, вмешаться бурно и

---

[29] Примечания: 29

Если бы мы только могли узнать, что, собственно, означает этот несчастный «зыбун»? *(нем.)*

[30] Примечания: 30

Глупая гусыня, у нее мы ничего не узнаем *(нем.)*.

искренне. Но так как Филипп появился внезапно и для всех неожиданно, выйдя из-за куста сирени, все получилось резче и гораздо энергичнее, чем он намеревался это сделать.

— Я полагаю, господа, что больше не имеет смысла мучить несчастную девушку. В конце концов она не виновата, что господа все еще верят в духов. Трудно давать показания о потусторонних явлениях для полицейского протокола, а то, что тут происходит, весьма напоминает суровый допрос!

Наступило замешательство, потом оживление, радостные приветствия, удивленные возгласы, взаимные поклоны, знакомство, рукопожатия, и тут же все во главе со старым Лиепахом согласились:

— Dass dieser Menschenquälerei Wirklich schon genug wäre, und dass es allerbeste wäre das Mädel wegzuschicken![31]

— Как приятно, маэстро, что вы помогли мне выбраться из этого положения! Клянусь, вы оказали мне большую услугу, — сказал старый Лиепах, пожимая обеими руками руку Филиппа.

Представив нового гостя незнакомым дамам,

---

[31] Примечания: 31

Что и в самом деле хватит мучить человека и лучше всего отпустить эту девушку с миром! *(нем.)*

он подвел его к Ксении, «своей крестнице и любимице», которую он «держал на руках перед купелью» и которую «любит, как родную дочь». Таким образом Филипп очутился рядом с Ксенией. Чувствовал он себя ужасно.

— Яга, дорогая, мы ничего от вас не узнали! Вас проводит Доминик, спасибо вам большое, но от вас толку не добьешься! Можете идти!

— Премного благодарна, ваша светлость, целую ручки, а я что знаю, то знаю! Рассказала, что видела и знала! Целую ручку препокорнейше!

Глядя вслед Яге, которая вместе с Домиником уже скрывалась за сиренью, старый Лиепах невольно вспомнил страшную октябрьскую ночь, когда он, спрятавшись в канаву, в одних кальсонах и рубахе, слушал, как мужики громили его усадьбу, как звенели разбитые стекла, и смотрел, как из-под крыши вырываются дым и пламя. Не было дня, чтобы несколько раз перед ним не вставала эта страшная картина.

— Ja, ja, das ist unser «liebes», «gutmütiges» und «intelligentes» Volk![32] А когда они поднимаются на тебя с косами и топорами, то это называется «свободой» и «демократией»! Zu blöd eigentlich,

---

[32] Примечания: 32

Да, да, это наш «дорогой», «добродушный» и «мудрый» народ! *(нем.)*

wo man leben muss![33]

Тасилло Пацак тотчас понял, что появление Филиппа подрывает его репутацию либерала. Он слыл эдаким легкомысленным леваком и бунтарем, и потому счел нужным показать прибывшему свое «социальное» лицо.

— Абстрактно говорить об этих вещах, дорогой дядюшка, довольно трудно, неправда ли? По сути дела в границах своего мировоззрения Яга не так уж глупа, как кажется. Во всяком случае, безусловно одно: говорила она с нами, как с иностранцами. Eigentlich zwei Welten und zwei Sprachen, die nebeneinander reden![34]

— Правильно, das hast du sehr gut gesagt! Zwei Welten und zwei Sprachen![35] И видите ли, господа, в моей голове не вмещается и, простите, не вместится, покуда я жив: что я, например, и эта мужичка можем быть заодно! Какая глупость эти фразы о равенстве! Was für ein demagogischer

---

[33] Примечания: 33

Как глупо, что приходится здесь жить! *(нем.)*

[34] Примечания: 34

Собственно, два мира, которые говорят друг с другом на двух языках! *(нем.)*

[35] Примечания: 35

Это ты очень хорошо сказал! Два мира и два языка! *(нем.)*

Schwindel![36]

Графиня Орсиваль, воспользовавшись небольшой паузой, решила, что и ей пора вставить свое слово:

— Ich meine, dass alles über meinen seligen Onkel hat sie ausgedacht[37].

— Напротив, чернь видит привидения! Плебс живет в пятнадцатом столетии! В ту пору люди были очень близки к духам! Я абсолютно уверен, что Яга видела покойного графа. Она только не смогла нам об этом рассказать! Между нами и ими лежит, по меньшей мере, четыреста лет — изрядная, сказал бы я, дистанция!

Слушая, как разглагольствует стоящий рядом с ним сноб о простонародье, с каким смаком он произносит слово «плебс», Филипп чувствовал, что краснеет.

Конечно, и он, Филипп, думал о «плебсе» точно так же, как и этот аристократ, и он ежедневно ощущал между собой и «плебсом» дистанцию, и даже гораздо большую, чем в четыреста лет, но сейчас ему вдруг стало стыдно: черт побери, как же так случилось, что он мыслит подобно этому

---

[36] Примечания: 36
Что за демагогическое вранье! *(нем.)*

[37] Примечания: 37
Я полагаю, что о моем покойном дяде она все выдумала *(нем.)*.

снобу? Правда, Филипп не видел социальных преград между собой и Ягой, не придавал слову «плебс» социального оттенка, может быть, тут налицо два снобизма, но, к сожалению, — необычно схожих снобизма! Кровь все больше приливала к голове, на пальцах проступили капельки пота. Перед ним разверзалась бездна!

Доктор, глупый близорукий доктор, забубнил низким астматическим баритоном:

— Яга, разумеется, ничего не видела! Позавчера была годовщина смерти графа, среди прислуги шли разговоры, типичная ассоциация, и ничего больше! Поэтому, конечно, Яга ничего конкретно и не могла сказать! Ни где это происходило, ни как выглядел призрак!

В противовес доктору Тасилло Пацак уверял, что Яга видела графа.

— По ассоциации или на самом деле, это не важно! Она просто не посмела посмотреть графу в лицо! Вполне понятная вещь: простой смертный вдруг встречает разгуливающего по парку покойного графа, естественно, что он закроет глаза и кинется наутек! С покойными графами простым смертным не под силу вести беседы. Для этого надо, по меньшей мере, выписывать «Готский альманах»!

— Sie machen immer dumme Witze, Herr von Patzag[38], — почла своим долгом вмешаться в разговор старая графиня, услыхав, что господин Пацак помянул «Готский альманах».

— Das sind keine Witze, Gräfin! Mein heiliges Ehrenwort![39] Я убежден, что Яга видела покойного графа! Граф Юксель для Яги не просто гражданское лицо, у которого можно купить семьдесят ралов пахотной земли; когда такая Яга видит графа Юкселя, она в смертном страхе закрывается платком. К сожалению, для Яги графы Юксели вовсе не шутка! Юксели пятьсот лет подряд таким Ягам отрезали уши. Das muss man verstehen, meine Herrschaften![40]

— И что же, именно ты призван защищать этих Яг перед историей? — Его светлость великий жупан и хозяин дома господин Лиепах заволновался, кровь ударила ему в голову, а в висках запульсировало с такой силой, точно там забили молотками. — Именно тебя история сделала адвокатом Яги, да? Du bist der einzige, der

---

[38] Примечания: 38
Господин Пацак, оставьте ваши глупые шутки *(нем.)*.

[39] Примечания: 39
Это вовсе не шутки, графиня! Клянусь честью! *(нем.)*

[40] Примечания: 40
Это, господа, надо понимать! *(нем.)*

die Arme versteht?[41] Ты, который вел себя с ней надменнее всех. Девушка говорила совершенно нормально, пока ты ее не сбил с толку. На словах ты вечно кичишься этим своим паршивым демократизмом, а на деле унижаешь человека так, что смотреть стыдно. Geh, ich bitte dich![42] Кстати сказать, Доминик мне уже давно жалуется, что ты называешь его «господином доктором»! Und das ist auch vielleicht nach deinem demokratischen Rezept, was?[43]

— Пардон, прости, но и Доминик упорно называет меня господином доктором, несмотря на то что я тысячу раз просил его избавить меня от этого «дурацкого доктората». Никакой я не «доктор», мое гражданское звание не имеет этого дурацкого титула! Das hat Adolf Loos sehr gut bemerkt, dass dieses ins achtzehnte Jahrhundert passende Doktortitulieren gerade so blöd ist, wie wenn man einer Schuster mit: habe die Ehre, Herr

---

[41] Примечания: 41

Ты единственный, который понимает эту бедняжку? *(нем.)*

[42] Примечания: 42

Оставь, прошу тебя! *(нем.)*

[43] Примечания: 43

И это, наверно, тоже согласно твоему демократическому рецепту, не правда ли? *(нем.)*

Schuster, begrüßen würde![44] Все это уже лежалый мелочный товар, господа!

— Der Loos, der ist ja ein verrückter Kerl[45], — запротестовала графиня Лафонтен-Орсиваль против ссылки на авторитет Лооса. Она, вероятно, из всего общества одна-единственная слыхала про «этого сумасшедшего парня»!

— Доминик вправе возмущаться твоим поведением, мой дорогой! Слуги существуют на свете не для того, чтобы над ними глумились!

— Я не люблю Доминика именно за то, что он идеальный слуга! Прости, но я ничего не могу с собой поделать, слуг я вообще не люблю. Это противно моей натуре!

— Dominik ist kein Sluga, er ist mein guter Freund und ich hab ihn sehr lieb! Er ist ein netter und ehrlicher und sympathischer Mensch![46] — сказала графиня, решительно встав на защиту Доминика.

---

[44] Примечания: 44

Адольф Лоос очень хорошо заметил, что существовавшее в восемнадцатом веке титулование доктором так же глупо, как если бы мы, желая оказать честь своему башмачнику, сказали бы: имею честь приветствовать вас, господин сапожник! *(нем.)*

[45] Примечания: 45

Этот Лоос сумасшедший парень *(нем.)*.

[46] Примечания: 46

Доминик не слуга, он мой добрый друг, и я очень его люблю. Он порядочный, честный и симпатичный человек! *(нем.)*

Очутившись в центре ожесточенной словесной перепалки, господин доктор Тасилло Пацак почувствовал себя на освещенной со всех сторон прожекторами оперной рампе эдаким гидальго, разящим всех и вся тонкой шпагой остроумия. В полный голос он принялся растолковывать графине, что между ней и камердинером Домиником непроходимой стеной стоит «Готский альманах», и если она, графиня де Лафонтен-Орсиваль, снисходит до того, что становится благосклонным другом Доминика, то для Доминика это, allerdings[47], честь, и только! Графиня Орсиваль, протягивающая руку для дружеского поцелуя лакею в ливрее, выглядит столь же символично, как, скажем, геральдическая львица с голубого поля ее орсивальского герба, протягивающая львиную лапу для поцелуя первому подвернувшемуся плебею. Но у нас, простых смертных, увы, в жилах течет кровь, а не шампанское, как у графов, и потому мы вправе оскорбляться проявлениями лакейства, тем более что сами мы недалеко ушли от холопов!

Покончив с графиней, господин Тасилло Пацак сосредоточил свое внимание на Филиппе.

---

[47] Примечания: 47
Разумеется *(нем.)*.

Рассыпаясь в любезностях, он сказал, что много слышал о нем от своего друга скульптора, который говорил о нем как о необычайно самобытном и, можно сказать, исключительно одаренном художнике. Что такие редкие и недюжинные люди, как Филипп, в полном смысле этого слова явления европейского масштаба, совершенно необходимы для развития нашего общества, особенно принимая в соображение плачевное состояние нашей культуры и потрясающую отсталость нашего изобразительного искусства, и что он счастлив, что ему довелось лично познакомиться со знаменитым маэстро!

Легко, с наигранной непосредственностью и безыскусственностью Тасилло Пацак сыпал цитатами, именами, датами, фактами, в две минуты выложив целый ворох доказательств своей феноменальной начитанности и образованности, подобно приказчику мануфактурного магазина, развернувшему на прилавке перед покупателями груды всевозможных тканей. Он упомянул Плеханова и Роланд-Гольст, рассказал, как под влиянием одной своей хорошей знакомой — американки — недавно познакомился с новейшей литературой о психоанализе, рассматривающей загробные, потусторонние проблемы. Теософия,

антропософия, Годжсон, Вильям Крукс, Вильям Джеймс, сэр Оливер Джозеф Лодж. Медиум в контакте.

Слушая этого болтуна в серых гетрах с моноклем в глазу, Филипп испытывал такое чувство, будто перед ним стоит полудикарь-левантинец и морочит ему голову, пытаясь всучить ему дешевую игрушку или зеркальце, а он пришел сюда вовсе не для того, чтобы покупать у дикарей пестрые стекляшки или разговаривать на ярмарке с приказчиками. И какого черта лезет, неужто не видит, что он ему надоел, пусть наконец оставит его в покое! Нервно попыхивая сигаретой, Филипп смотрел с каменным лицом на именитого Тасилло Пацака, а тот разглагольствовал о внутренней логике формы, о негритянской пластике, о современном экспрессионизме, связанном с такой сейчас актуальной активизацией действительности и о коллективизме в искусстве, и снова помянул Роланд-Гольст и Замятина… Тянулось это уже бесконечно, и положение становилось все более неловким. Глаза гостей были устремлены на Филиппа, все ждали, что он ответит. Но Филипп молча курил и время от времени смотрел в глаза Ксении. Благородные господа напоминали ему живых размалеванных кукол, и только глаза

Ксении сияли чистым аквамарином, а ресницы были такие густые, черные и пушистые, что казались искусственными. И эти, точно намазанные углем, густые ресницы раскрывались, и за ними поблескивала лазурь, из глубины которой бил свет, глаза же других были затянуты бельмами, как у слепых куриц.

«Люди — это куклы, стоящие на разных ступенях цивилизации, как на витринах», — думал Филипп, глядя на сливки общества, расположившегося на террасе. Стоят манекены в витринах, а позади скрытые от глаз устроители то и дело переодевают их в костюмы и платья нового покроя и сообщают им новые привычки, а называется это, бог знает почему, «прогрессом!». Если бы одна из этих дам появилась сейчас в довоенной шляпке — гнезде из кружев, картона, лакированных черешен, овощей или винограда, в бантиках, в юбке колоколом, с воланами, все бы смеялись. Но покажись через десять — пятнадцать лет одна из костаньевецких girls — имитаторш — где-нибудь на приеме, одетая по сегодняшним новейшим прописям голливудских шляпных мастерских, снова бы все смеялись. Эти человекообразные обезьяны, глядя на себя, какими они были пятнадцать лет назад, сами над собой

смеются. Действительно, непостижимо! Среди тысяч и тысяч женщин-кукол время от времени каким-то чудом можно набрести на одну не куклу. Например, женщина в черном, с проседью в волосах и глазами цвета аквамарина — не кукла! Она наверняка живой полнокровный человек! Она курит как человек, у нее вполне человеческие движения! Она была женой министра, и из-за нее вылетели в трубу несколько банков! Говорили, что она нимфоманка и что из-за нее один человек попал в тюрьму! Если женщина не кукла, то женщины-куклы о ней всегда плохого мнения! Тюрьмы, убийства, разврат, растраты, самоубийства, прелюбодеяния, измены — глупые, мещанские предрассудки! У нее хватает мужества жить в этой вонючей провинциальной дыре и проводить ночи в мрачном кафе за кассой, зная, что недавний преступник, больной, пропащий человек, следует за ней как тень; конечно, не будь Ксения женой министра, ни одна из костаньевецких чиновных дам даже не взглянула бы на эту «кассиршу», а так они все-таки садятся с ней за один стол, хотя у каждой из них есть на ее счет особое мнение.

Глядя, как старый Доминик, точно пингвин, устало волочит свои плоскостопые ноги, как жад-

но слизывает с большой ложки взбитые сливки жена врача, как супруга советника бана старая госпожа Элеонора Лиепах донимает жену ветеринара разговорами о раке, Филипп почувствовал тоску. Оставаться здесь дольше было невмоготу. Дети землемера, гоняясь за павлином, пробежали мимо террасы. Под предлогом, что он поможет поймать детям павлина, Филипп скрылся за густыми кустами сирени и пошел через парк к старому дубовому лесу, раскинувшемуся над усадьбой.

Выйдя на поляну, он сел на толстый ствол срубленного дерева и задумался. Неподалеку от него, возле трухлявого пня пораженного молнией дуба, гнилой, рыхлой, ноздреватой массой чернел вымерший муравейник. Могильная тишина над этим разоренным коровьим копытом безжизненным сооружением навеяла на Филиппа легкую меланхолию. Когда-то тут был фруктовый сад Краненштейгов, теперь на поляне осталась одна-единственная старая корявая яблоня, источенная червем, серая, с тяжелой зеленой кроной, вся усыпанная красными яблоками — знамением ранней осени. Среди зелени на ветвях алели отдельные плоды, красные, как старомодные Регинины чашечки для кофе. На старой ежевике

паук плел свою сеть, поднимаясь и спускаясь отвесно, соблюдая интервалы, как челнок невидимого ткацкого станка. Кругом царил покой. Издалека, из-за леса, доносилось сопрано пастушки, где-то отбивали косу. Ниже поляны, в долине, среди виноградников и лугов в глубоком ложе вилась Блатня, а на горизонте, в пепельной дымке летних сумерек, все отчетливей вырисовывались контуры горных хребтов, голубоватых и прозрачных, как на японском рисунке. В предвечерней игре красок одна за другой выстраивались в далекой равнине вербы, пластичные тени были заштрихованы точно углем, а копны сена и далекие темно-зеленые посевы сливались в однотонную прямую. Поляну осеняла горькая, мрачная красота одиночества. Вдыхая влажные лесные сумерки, Филипп думал, как много прелести и мудрости в том, чтобы, ни о чем не думая, спокойно вдыхать влажные лесные сумерки. Да, в этом все — как можно глубже, погрузиться в вечерние и утренние сумерки, слушать журчание родника, вдыхать аромат растений и ни о чем не думать. Дышать.

Он сидел, склонившись над безжизненным муравейником и обхватив голову руками, как вдруг почувствовал чье-то теплое дыхание у своей шеи.

Возле него стояла Ксения, вся в черном, бледная, седоволосая. Словно это было в порядке вещей, она села рядом, и они долго-долго молчали.

* * *

Филипп познакомился с Ксенией Радаевой, когда у этой женщины все уже было в прошлом: и два несчастливых и безрассудных брака, и трагедия с Владимиром Баллочанским, которого Ксения никогда по-настоящему не любила и к которому относилась весьма неопределенно, с какой-то для нее самой непонятной жалостью, и ее жалость сыграла в судьбе этого слабого, несчастного человека пагубную роль. Первый раз Радаева вышла замуж по расчету за доктора Павлинича, адвоката и министра, подобно многим девицам-горожанкам. Однако в отличие от стольких своих сверстниц (которые, тоже из расчета, годами терпели обман на брачном ложе) темпераментная Ксения не могла примириться с лживым компромиссом и разорвала брачный договор без какого-либо конкретного повода, скорее по капризу, чем по необходимости. А поскольку ее развод совпал с банкротством Кредитного общества (в котором ее супруг являлся председателем и одним из наиболее заинтересованных

акционеров), то пошли слухи, будто виновницей разорения банка была Радаева и будто, предвидя катастрофу, она вовремя ретировалась. Конкретно никто никаких обвинений предъявить ей не мог, и все так и повисло в воздухе в виде грязных сплетен, которыми обмениваются за чаями и ужинами и которые исчезают с трудом, подобно застарелым пятнам на ткани.

Адвокат Владимир Баллочанский, сын бывшего директора департамента Баллочанского, без памяти влюбился в эту женщину, по-мальчишески наивно и чисто. С первого же дня он показался Ксении скорее скучным, чем занятным, и, отвергая зачастую очень резко домогательства этого безвольного человека, она окончательно его добила, или, как вульгарно говорит улица: «угробила». Из-за нее Баллочанский, испытывая тяжелые денежные затруднения, пошел на крупную растрату и подделку векселей. Сам он попал в тюрьму, жена его (довольно трусливо и театрально) выбросилась из окна, и в итоге Баллочанский достался Ксении Радаевой как наследство от драмы: она получила его однажды, точно посылку, из тюрьмы. У ее двери позвонил душевно надломленный, больной, близорукий паралитик с седоватой бородой, в измятой на-

кидке и засаленном котелке. Ксения на знала, что с ним делать? Взять к себе в нахлебники, убежать от него, спрятаться или вышвырнуть его на улицу, подобно тому как у него однажды все вышвырнули на улицу «из-за нее»? Так Баллочанский поселился у Ксении; потом, когда не стало денег, они уехали в Костаньевец, где у нее был клочок виноградника и каменный одноэтажный домик; когда же виноградник и дом перешли в собственность к Штейнеру, Ксения сняла у него в субаренду кафе на Общинной площади и села за кассу, продолжая жить вместе с параличным Баллочанским в своем бывшем доме по милости все того же костаньевецкого ресторатора Штейнера. Те три года, которые Баллочанский провел в тюрьме, Ксения Радаева предавалась разгулу. Сочетавшись гражданским браком с политическим дельцом и крупным промышленником, разжившимся на войне, она безудержно сорила деньгами, и не тогда ли и не в том ли со всех точек зрения бессмысленном и губительном прожигании жизни зародилась в ней какая-то близкая к самоубийству неуемная и безумная жажда смертельно рискованных наслаждений, из-за которых в конце концов она и свернула себе шею.

Баллочанский почувствовал, что судьба его в руках Ксении, которую тогда все называли Бобочкой, когда ей исполнилось двадцать семь лет. У нее была продолговатая голова, напоминавшая чем-то русскую гончую. Необычайно хрупкая, миниатюрная, белокурая, с глубокими ясными глазами и тонкими, непохотливо и четко очерченными губами, эта женщина улыбалась умно и нервно, а из ее влажного, болезненно-розового рта с журчанием лилась, как чистейшая лирика, самая тяжелая ядовитая ложь. Тело Бобочки, этот сосуд, полный мутных глубоких страстей, казалось телом чистой девочки, которая стоит на пороге своей первой весны. Она цвела, как нежный, надломленный цветок, и запах прелого, мокрого сена, исходивший от нее, и ее смоченные опиумом сигареты, и ее хрипловатый от табачного дыма альт — все кружило головы нашим новоиспеченным господам, как таинственный ладан. Отвратительным, гадким вещам Бобочка умела придавать чарующую прелесть любовных утех, гнусные и грязные поступки заволакивала чарами голубой крови, магией аристократизма сводила с ума наших доморощенных господ банкиров и парвеню, одновременно опустошая их массивные стальные кассы.

Бобочка была аристократкой. В ее хрупком фарфоровом теле бурлила чистая голубая кровь, такая же прозрачная, как аквамарины ее ожерелья. И кипучая кровь, лиловая, как чернила, которыми она писала свои обольстительные письма, и страстный темперамент — все казалось неподдельным золотом, и по уличным пересудам два банка — Кредитное общество министра Павлинича и Югоголландское акционерное общество — закончили свою деятельность с ликвидационным соглашением в тридцать процентов от внесенной суммы по милости Бобочки и капризов ее голубой крови.

На первой стадии разрыва с министром Павлиничем Бобочка занимала в особняке недалеко от центра квартиру из девяти комнат в бельэтаже. В окнах играло отражение зеленой аллеи городского сада, а сквозь открытую на балкон дверь доносились журчанье фонтана и говор вечерней толпы. Комнаты были обставлены спокойной ампирной мебелью, которую, по словам Бобочки, привезли из ее радаевского родового имения и которую на самом деле Павлинич купил в Вене на аукционе, и довольно дешево, как выморочное имущество какого-то венского барина. Еще со

времен Вербёци[48] Радаи, «по семейным преданиям», спорили за «Права Королевства», истинное же лицо радаевского патриотизма выявилось во время выборов 1847 года, когда Бобочкин прадед, Амброз Радай, радуясь поражению иллирцев[49], играл с туропольцами чардаш и марш Ракоци.

Радаи, по тому же «семейному преданию», всегда шли против своего народа, и, начиная с Рауха, первого соглашателя, и дальше при графе Куэне и при простых дворянах Чувае Томашиче, Ракоши и Скерлеце, кто-нибудь из Радаев постоянно выполнял роль верного пособника венгров. Пушечное мясо оптом и в розницу продавалось иностранцам, Радаи же всегда оставались истинными приверженцами, помощниками и придворными чужих государств и, как гласило «семейное предание», «защищали интересы и

---

[48] Примечания: 48

Иштван Вербёци (ок. 1458—1541) — автор свода законов (1515 г.), в котором были сформулированы основные правовые и государственные нормы венгерского феодального государства и который сохранил свое значение вплоть до 1848 г.

[49] Примечания: 49

Во время выборов в Загребской жупании иллирцы — участники общественно-политического и культурного национального движения Хорватии — потерпели поражение. Мадьяроны победили благодаря голосам туропольцев — жителей местечка Турополье, получивших в XIII в. дворянские права, а следовательно, и право голоса.

Права Regni C. S. et Dalmatiae[50]»…

В квартире Бобочки стоял домашний позолоченный алтарь «из радаевской прадедовской дворцовой часовни», переделанный в бар. В этом алтаре она держала игристые вина и виски. Над постелью Бобочки висел портрет одного из Радаев в торжественном облачении епископа, а в гостиной бросался в глаза портрет загадочной женщины в желтом шелке (кисти Макарта), якобы венской балерины, из-за которой застрелился один из фон Радаев. Все в квартире Бобочки напоминало театр. На полированном ампире поблескивали подсвечники дубровницких мастеров, мебель была покрыта индийскими шалями. Здесь, в декоративном полумраке, дни и ночи напролет курили, пили, точили лясы. Болтали о музыке, перебирали всех от Шумана до Онеггера и Мильхауда, опошляя эти имена глупым пустословием за чаем или шампанским. Городили всякий вздор о литературе, о лирике, о вкусе и о моде, разглагольствовали о красоте, словно эта красота была заглавной красочной страницей женского журнала мод, и так под эту ложь и болтовню каждый месяц пускалось на

[50] Примечания: 50
Королевство Хорватии, Словении и Далмации *(лат.)*.

ветер около семидесяти тысяч, были разрушены три семьи и вылетели в трубу два банка, и все это под невинные разговоры о Красоте, о Вкусе, о Вечности и о Боге.

* * *

Еще в Будапеште, когда двенадцатилетней девочкой Бобочка дралась с курчавыми и зубастыми мальчишками, она проникла в потрясающие тайны плоти.

Бобочка проводила летние каникулы у своей тетки. Воскресенье. Пахнет сосной. Звонят колокола. Бобочка, хрупкая, белокурая, легкая, с голыми, еще острыми коленками, нежными мягкими суставами лежит на руках барона Ремени, родственника ее тетушки… Баронесса Ремени, жена одного из фон Радаев, высокопоставленного правительственного чиновника, жила в замке над Кровавой Поляной.

Стоит чудесное солнечное утро. После бурной грозовой ночи воздух прозрачен. Тени, голуби, колокола. Дома никого. Все, кроме Бобочки и барона, ушли на мессу, Бобочка качалась в саду на качелях, а барон (старый пройдоха и картежник) читал газеты. Как случилось, что лопнуло кольцо и Бобочка упала на стакан, оказавшийся поче-

му-то под качелями, осталось неясным; Бобочка забыла все подробности: упала, рассекла стеклом колено и потеряла довольно много крови. Старый барон отнес ее наверх в комнаты, положил на диван и стал промывать рану смоченной в спирту ватой, а потом все это исчезло в истоме чудесного полузабытья — о нем она читала в романах, но что в этом полузабытьи все кружится, как в дыму, что тело, оторванное от всего земного, парит подобно воздушному кораблю в нирване, до этой самой минуты она не имела понятия. И все же самым ярким воспоминанием ее ранней молодости осталось ни последовавшее потом довольно нездоровое слияние тел, ни порывы страсти, ни таинственное пробуждение детской похоти, а солнечное утро, спущенные шторы, полумрак, далекий перезвон колоколов в городе, запах спирта и теплая кровь на колене, потные руки, огонь в мозгу и суставах и сладостное полузабытье от того, что плакала, прижавшись к дяде, и от того, что дядя поднял ее и понес на диван, гладя ее окровавленную ногу своими тонкими пальцами, от которых пахло табаком и спиртом.

В седьмом классе лицея она заболела тяжелым бронхитом, и мать увезла ее на пароходе в Таормину.

Стояла теплая весенняя ночь. Берлинский остряслов, сын банкира, бездельник и столичный ловелас, толковал Бобочке про готику и фарфор, рассказывал о своей коллекции чашек и о звездах. Среди канатов, высоко на носу белого судна, теплой звездной ночью, уже недалеко от Таормины, Бобочка, разгоряченная чахоточным жаром, уступила настояниям незнакомого юнца. Молодой берлинец, по профессии врач, столичный декадент с подведенными бровями, два дня разгуливал по палубе с книгой в кожаном переплете с золотым обрезом. С самой Генуи он очень умно и занятно рассказывал Бобочке о технике гравюры, о драгоценных чашках и рассуждал о том, как скучна жизнь, когда нельзя жить свободно и просто, как живут обезьяны в джунглях. Так на носу парохода сошлись две родственные души, и, пока они разговаривали о «Symposion'е» и о любви в новеллах Банга, все мутное и лживое, что уже года три-четыре бурно бродило в душе Бобочки, само собой прорвалось наружу окончательно и бесповоротно. Ложный, исполненный таинственности и тошнотворного стыда страх, преследовавший Бобочку тенью ужаса и смятения, в ту ночь исчез, и Бобочка вернулась в свою каюту человеком, сбросившим

с себя «последний балласт глупого средневекового воспитания и предрассудков». Проходя через освещенный салон, где ее мать играла в бридж, Бобочке пришла в голову безумная идея подойти к матери и рассказать обо всем, что произошло. Но в тот же миг ее ноги будто налились свинцом, а возникшая идея показалась до того чудовищной и нездоровой, что она, не задерживаясь, прошла дальше в свою каюту, которая находилась под верхней палубой.

«Все это больной бред!»

«А вообще есть ли что-нибудь на свете здоровое? Одни фразы, и только. И тот молодой сибарит-берлинец, пожалуй, прав! Мудрее всех живут обезьяны в тропиках!»

В снастях пел южный ветер, как бы нехотя начиналась качка: равномерная, скучная… Бобочку подташнивало. Морская болезнь мучила ее до самой Таормины.

Мать играла в карты до рассвета, а когда вернулась в каюту, Бобочка притворилась спящей. Рот ее был полон желчи, глаза помутнели и налились кровью. Через окованный медью открытый иллюминатор в каюту врывался соленый запах моря и доносился плеск волн. Брезжило июньское утро, и в его призрачном свете видно было сквозь

овал желтой меди, как уходят куда-то пепельные острова с мерцающими маяками.

* * *

Владимир Баллочанский, или, как подписывался его отец, Ballocsanszky, был благонравный и хорошо воспитанный маменькин сынок. Ее светлость госпожа Патриция Баллочанская, супруга директора департамента, всю свою жизнь посвятила воспитанию единственного сына. Владимир всегда был первым учеником и получал одни пятерки, он был талантливый, чистый, откровенный, добродушный, вежливый, одним словом, для характеристики этого превосходного мальчика употреблялись только превосходные степени. Его занятия живописью далеко перешагнули простое дилетантство, отличное английское произношение, неизменно выглаженные брюки и неизмятый галстук, его письменные работы, порядок на письменном столе и в шкафах, его учение за границей и экзамены, которые он сдавал с необычайной легкостью, — решительно все сулило молодому человеку благородного происхождения и недюжинных способностей блестящую карьеру.

Владимиру Баллочанскому было двадцать че-

тыре года, когда он, занимая пост помощника начальника Крижановецкого уезда, обручился с Вандой Дворжак-Аграмер, дочерью известного хирурга, доктора Дворжак-Аграмера, домовладельца и крупного богача. В 1914 году, в первый же день мобилизации, Владимиру, служившему тогда секретарем департамента внутренних дел, пришлось — он родился в 1881 году — отправиться в свой Вировитицский кавалерийский полк; отец троих детей, он пробыл в Галиции до второй половины семнадцатого года, после чего с наградами, в чине ротмистра вернулся на штатскую службу.

Неизменное покровительство матери, ее светлости госпожи Патриции Баллочанской, тридцать лет не сводившей своего недреманного ока с сына, счастливый брак с Вандой Аграмер, блестящая чиновничья карьера, полная замкнутость семейного и светского круга — все это воздвигало между Владимиром Баллочанским и настоящей жизнью искусственные картонные стены. Точно франкированный пакет, запечатанный по всем правилам хорошего тона и определенного чиновничьего мировоззрения, Владимир, держа в узде свои нервы, склонности и темперамент, являл собой образец высокопоставленного королевского

чиновника, придерживающегося обычаев и так называемых убеждений с автоматизмом хорошо отлаженной машины.

После войны Владимир Баллочанский открыл адвокатскую контору, вложил капитал жены в промышленность, сел за зеленый стол директорских советов, продолжая удобную, упорядоченную и ясную жизнь. Владимир Баллочанский и его супруга Ванда считали себя счастливейшими людьми. Их дети, старший сын Владимир и две дочери — Дагмара и Алиса, их квартира в одиннадцать комнат с тремя служанками и лакеем, визиты ее светлости госпожи Патриции, неизменный летний отдых в Ловране или Бохине, обязательная поездка во время сезона в Вену («чтоб немного освежиться»), солидная промышленная клиентура и налаженный домашний быт («всего восемнадцать тысяч в месяц») — все это способствовало тому, что жизнь изо дня в день, из года в год двигалась неторопливо, степенно, по расписанию не менее точному, чем железнодорожное. В этой лакированной, благопристойно оформленной шкатулке все игрушки знали свое место. Известно было, где лежат ноты с сонатами Бетховена, а где погашенные счета, что сказала гувернантка, когда госпожа Патриция прислала

из Зальцбурга открытку; известно было, чем пополнить домашнюю аптечку, а чем детский гардероб, как обстоит дело с Алисиным коренным зубом или с греческим языком у отцовского любимца и тезки. В их жизни находилось место и классикам — они казались этим милым людям скучными и величественными, подобно гипсовым статуям или книгам с золотым обрезом, которые держат под стеклом; покупались абонементы в концертных и театральных бюро, приобретались и картины по Вандиному вкусу с изображением бушующей морской пучины — то была единственная буря, которой эта умная и предусмотрительная дама наслаждалась после вечерней игры на рояле, в начале двенадцатого, поджидая, когда щелкнет ключ входной двери и явится с позднего собрания или деловой встречи ее супруг.

И вдруг в эту тишину ворвался свист ветра. В лакированной жизни уютного перестука часов, теплых ковров и закупоренных комнат появилась поначалу незначительная и едва уловимая ложь, которая с упорством термитов стала разрушать это идиллическое царство, слепленное из картона и блестящего лака. Владимир Баллочанский познакомился с Бобочкой и первый

раз в жизни влюбился в женщину, следуя зову природы, а не разуму и логике, очертя голову, как это бывает с юношами до восемнадцати лет: либо пан, либо пропал!

Присутствие этой несчастной Ксении Радаевой ощущалось уже довольно давно, поначалу в качестве клиентки, подзащитной, потом ее стали приглашать в дом составить партию в карты, она начала появляться в их ложе, на дружеских ужинах в ресторане, и, наконец, ее имя зазвучало во всех телефонных частных и служебных разговорах Владимира Баллочанского. Баллочанский вначале был адвокатом Бобочки в ее весьма запутанном деле о разводе, так как господин министр, ее муж, грозил представить какие-то письма, доказывающие прелюбодеяние. Позднее выяснилось, что письма эти — обыкновенный трюк адвоката противной стороны.

— Сегодня в половине пятого тебе звонила Боба!

— Да? Спасибо! Она звонила мне в бюро.

— А разве ее дело еще не закончено? Мне говорила Текла, будто уже все в порядке!

— Да, вопрос передан в высшую инстанцию. Презапутанная штука эти церковные и брачные законы! А судопроизводство устарело и созда-

но единственно для того, чтобы мешать. Дела, которые кажутся разрешенными, в силу самых незначительных причин могут быть возвращены в первоначальную инстанцию. Все это очень сложно!

— Не знаю, но эта женщина действует мне на нервы! Она нехороший человек!

Молчание. Сигаретный дым. Ванда безмолвно ходит от окна к роялю. Пауза. «Фантазия» Шумана.

Или:

— Куда ты идешь?

— У меня встреча в «Паласе». Югоголландское общество. Готовимся к конференции.

— А доктор Кланфар звонил, что вечером собираются у него. Разве ты не пойдешь туда?

— Это какое-то недоразумение! Сегодня встреча по поводу Амстердама… Впрочем, это все дела. Кланфар мог звонить. Его это нисколько не касается. Кланфар всего лишь вывеска! До свидания, Биби! Я ухожу! Спокойной ночи! Ты ложись, не жди меня!

— А разве ты не вернешься после встречи?

— Не знаю, детка! Если засидимся, то, конечно, нет! Спокойной ночи!

И так одно недоразумение за другим.

— Я заказала машину, ведь это единственная радость детей, а для тебя это пустяк. И вообще в последнее время дети тебя совсем не видят! Твоя вечная занятость наводит на подозрения! Я обязана тебе это сказать!

— Прости, но мы договаривались об этом пикнике условно. Разве я виноват, что мне надо работать? Ты все преувеличиваешь! К чему говорить впустую, дорогая моя!

— Да я сдерживаюсь, как могу, но когда дело касается детей…

— До свидания!

Потом пошли пререкания о том, уславливались ли они покупать ложу или нет, и не все ли равно, если он заедет за Вандой и детьми после «Тоски» вместо того, чтобы зевать на ней. А условился он так потому, что не знал, потому что забыл, потому что думал, потому что не мог предвидеть, потому что он человек занятый, целый день работает на других, как осел, что, наконец, он имеет право как минимум на свою партию в бридж и свою чашечку кофе в кафе.

Потом мелочная ревность, подозрительность, бесконечные сигареты, вино. Много сигарет, коньяку, виски и — чего до сих пор не было — кутежи и пьяные скандалы. Сплетни по городу,

сплетни вокруг Бобочки, сплетни вокруг Владимира. «Будто он был у Бобочки на ужине и плясал на столе в костюме испанской танцовщицы. Будто его видели с Бобочкой и ее свитой в кабаре в ту ночь, когда он отказался пойти с Вандой на концерт французского пианиста. Что ездил он вовсе не в Вену по делам, а в Опатию, где Бобочка купила роскошную виллу. Что он проигрывает в карты и швыряет деньгами. Что живет не по средствам и весь в долгах. Что с ним происходит что-то неладное!»

Смятение и подозрительность все углублялись, наводя на совершенно новые, доселе не ведомые размышления, логичные и весьма неутешительные, чего до сих пор никогда не бывало.

Разногласия помогли Ванде сделать ряд выводов, и она начала открывать в своем супруге нового, совсем ей неизвестного человека: безвольного, лживого, в сущности, попугая, у которого все основано на показной стороне, к тому же совершенно пустого, несолидного, эгоистичного и даже жестокого. Она же мать, она живет для своих детей, старается сохранить неосквернённой чистоту своего очага, немаловажного и для него. Она мученица, а к ней относятся так, словно она не человек, а вещь. И никто не желает с ней

считаться.

* * *

В его светлости Владимире Баллочанском все больше пробуждались плоть и плотское.

Он всю жизнь прожил, в сущности, как в санатории для нервнобольных, где в интересах пациентов все было под запретом. Нельзя было курить, пить, играть в карты, любить, дурачиться, наслаждаться, думать! Все запрещалось, все шло по раз и навсегда установленному распорядку, как в частной психиатрической лечебнице. Что он, собственно, знал, кроме ежедневных в течение многих лет больнично однообразных занятий по заранее намеченной программе и страшного, нездорового подчинения заведенным обычаям, правилам, принципам? Что? Летаргию воли, многолетнюю, безропотную покорность, мнимое обывательское счастье, которое лишь погубило в нем то хорошее, что в нем было.

«Что же он все-таки пережил, если взять все в целом? Болел бронхитом, ангиной, пил настой алтея. В гимназии на духов день вывихнул ногу и четыре недели ходил в гипсе, вот и все события его жизни! Главным переживанием детства представлялась ему ночная поездка с ныне покойным

отцом в экипаже на виноградник в Божьяковац. Таинственные отсветы фонарей на лоснящейся шерсти лошадиных крупов — единственное глубокое переживание его детства. Бобочка права, когда утверждает, что величайшее проклятие современной жизни состоит в том, что она систематически уничтожает в нас все непосредственное, глубинное, затаенное! «Надо жить свободно, как живут в джунглях обезьяны!» Отказаться от балласта европейского интеллектуального воспитания. Стыдно признаться, хотя это сущая правда, что первая его женщина после брака была проститутка и случилось это в Рожнятове, в Галиции, в шестнадцатом году. Мировая война была в разгаре, и он, тридцатилетний кавалерийский офицер, воевал уже два года».

«А вот теперь эта необыкновенная женщина, эта Бобочка, стала для него настоящим откровением. С ней он избавится от скуки, обыденности, серости, вырвется на волю, испытает сильные, доселе ему не ведомые чувства!»

«И к чему говорить глупые фразы — об обязанностях «мужа и отца семейства»? Всю жизнь ему твердили об «обязанностях». И гувернантка с ее

несносным «occupation quotidienne»[51], и мать, тридцать лет тиранившая его своей возвышенной любовью, и школа с ее экзаменами, и служба, вечно одни ограничения. Запрягут человека в пролетку, гонят и приговаривают, что это и есть «обязанности мужа, отца семейства и хорошо воспитанного сына» и что следует бежать ровной рысью до самых своих похорон по первому разряду (а гроб уже куплен заранее, на всякий случай). Да он и не собирается восставать против такого распорядка! Пусть ему только позволят хоть на минутку остановиться и передохнуть! Он согласен терпеть эти безысходные муки, дайте только передохнуть!»

«Он точно из воска, у него нет воли, он азартный игрок, поставивший на карту счастье своих детей!»

«Какие глупости! Что такое воля? Обезьянье подражание традиционным действиям. У него хватило воли, чтобы раз в жизни «захотеть» чего-то необычного! До сих пор у него не было воли, и вот сейчас, первый раз в жизни, ему открылась квинтэссенция этой мещанской фразы, он понял, что, в сущности, значит «хотеть». И то, чего он

---

[51] Примечания: 51
Повседневными занятиями *(франц.)*.

«хочет», не противоречит ничьим интересам! Он «хочет» всего-навсего одного-единственного светлого интервала в зеленой скуке, вырваться один-единственный раз на волю без сопровождения и без надзора. Да он вернется! Почему такая паника, неужто можно подумать, что он не вернется? И вообще к чему это чрезмерное внимание к его персоне? Все это его личные дела, которые ровно никого не касаются! Люди слишком назойливы и бесцеремонны! Особенно дамы из общества, а тем паче если они матери! Он трудится, зарабатывает деньги, кормит и поит этих назойливых нахалов — так к чему же такая тревога и нервозность»?

* * *

Сидит его светлость Владимир Баллочанский в баре и смотрит на мелькание красочных тканей и женских фигур. Движутся голые плечи, юбки, драпировки, движутся в звуках танца лица, колышется перед глазами пестрая толпа в ритме негритянской музыки, страстной, мутной и грубой, а Баллочанский сидит в ложе, пьет коктейль за коктейлем и смотрит, как Боба скользит по паркету с незнакомыми ему мужчинами.

«Что это за неприятные типы с подчеркнуто гру-

бо скроенными смокингами, словно под черным сукном и туго накрахмаленной грудью вздуваются атлетические мускулы? Кто эти незнакомые люди с густой, жесткой, прилизанной бриллиантином шевелюрой, с крепкими зубами и английским пожатием руки? Спортсмены, которые говорят о глупых романах, уезжают зимой на Бернину, пьют литрами чай и, сидя среди цветов в полумраке, беседуют о книгах и музыке и милуются с Бобой или пляшут с ней целыми ночами, а он сидит в ложе, пьет коктейль за коктейлем и ждет рассвета, когда все устанут, чтобы сесть с ней в автомобиль и проводить домой. Все это распутство, непристойное и авантюристичное, откровенно говоря, гадко, бессмысленно и дорого. Безнадежно мучиться, ждать целыми ночами, подвергаться пыткам, унижениям, доводить себя до полного изнеможения, чтобы потом почувствовать женское тело, равного которому нет на свете, и дать себя тиранить и быть счастливым».

«Тут же, на паркете, вместе с Бобой топчется всякий сброд. Кричат и громко смеются третьеразрядные проститутки, перебирают клавиши рояля и клапаны флейты пьяные музыканты, толкутся приказчики с набрякшими потными руками и оловянными перстнями на пальцах,

танец перемежается с уголовщиной, а Боба танцует радостно и невинно, как девочка. Воздух удушающе спертый: воняет простым мылом и соевым маслом. У обер-кельнера золотой браслет и перстень с топазом, прозрачным, как старое вино. Кельнеры затянуты во фраки, как манекены, в лакированных туфлях, напудренные, и под звуки гитар обслуживают пьяных развратников, вкушающих на серебре, и каждая такая удалая ноченька обходится Владимиру, по меньшей мере, в тысячу динаров».

«А Боба настоящая нимфоманка!»

«Нет, Боба самая искренняя и самая невинная женщина на свете! Она не утаила от него ни одной подробности из своей жизни. Ни того молодого венгерского гусара, бабника и развратника, в руки которого она попала восемнадцати лет. Это был рыцарь и подлец, искатель приключений и шантажист, любовник и укротитель, и в конце концов он бросил ее, как и прочих своих любовниц, и женился на другой. Звали его Немет. Фон Немет. Потом последовал брак с этим отвратным карьеристом Павлиничем и все те душевные раны, которые так и не зарубцевались! Боба ничего от него не утаила. Рассказала со всеми подробностями о множестве флиртов, о

ночных кутежах по грязным кабакам с пьяными босяками, пронзавшими ее звериными взглядами. От них несло потом и нечистым телом, из вьющихся волос торчали соломинки и сухие травинки — следы сеновала, где они ночевали прошлую ночь. С одним из таких типов, который штаны подвязывал веревочкой, а вместо ботинок на нем были драные галоши, она, пьяная, провела ночь на телеге в каком-то запертом сарае где-то в пригороде. Но это было отчаяние одиночества! Такое можно понять!»

«Однако были и неприятные вещи. Старообразный карлик Муки с обезьяной Боби, игравший роль придворного шута. Ростом в девяносто семь сантиметров, в смокинге, с маленькими морщинистыми ручками, как у недоносков в банке со спиртом, этот маленький Муки прыгал по Бобочкиной квартире как невиданное домашнее животное. Звенел бубенцами, играл с хамелеоном Биби, носил на голове красный дурацкий колпак и наливался шампанским. Муки ему удалось выгнать, но маленькая, горбатая скрипачка Элеонора, чудо-ребенок, чахоточная, бледненькая, больная девочка, оставалась в неизменной милости у Бобы, и было во всем этом что-то темное и непонятное».

«А какие мрачные и подозрительные личности бывали на приемах у Бобочки! Эксцентрики, которые пили вино из человечьих черепов; аферисты, которые не могли жить без раков и спаржи, особенно в то время, когда ни раков, ни спаржи обычно не бывает. Целые дни ведутся разговоры о галстуках и помадах, а в конечном счете все это обходится ему очень дорого, поскольку и спаржа, и артишоки, и раки покупаются на его деньги. Вечер «сиамских близнецов», устроенный Бобочкой в честь друга детства, камерного певца Лориса, приехавшего в город на собственном рольс-ройсе, стоил немалых денег. Китайские свечи, малайская майолика, тухлые яйца, рыба с душком, лежалые дыни с майонезом, какие-то тяжелые опьяняющие пряности, сигары — и за все, разумеется, платил он, Баллочанский, а получилось все скучно и ненужно».

«Ни один человек из Бобочкиного окружения не вызывал у него ни симпатии, ни уважения. Вот и эта сумасшедшая графиня Орсиваль постоянно вертится около Бобы. Для чего она так часто приезжает из Сент-Миклоша и сидит здесь по нескольку недель? А госпожа Ангелина Бенито-Беницкая, похожая на мальчика, жена всем известного картежного шулера, до того скомпро-

метированная, что ни одна приличная дама не позволит себе появиться где-либо в ее обществе? Боба же демонстративно каждый вечер сидит с Анжеликой в одной ложе. В Бобином салоне постоянно шныряют тайные спекулянты парижскими и лондонскими духами и дамскими чулками; разные прощелыги с высокими титулами и видным положением торговых консулов целыми ночами играют в покер, chemin de fer, проигрывают, выигрывают. Отвратительный народ! Кто, например, этот мрачный аферист доктор Кириалес? Или этот лицемер, его светлость Крижовец, адвокат Кланфара, который только и думает, как бы выжить его из амстердамского предприятия. Потом ее кузен по матери, Урбан, бывший советник санкт-петербургского посольства, который пал уже так низко, что кропает газетные статейки и подписывает их собственным именем.

На днях у Бобочки ужинал хиромант из Каира, некий Мухарем-Абибей, и тут произошло нечто такое, что до сегодняшнего дня так и осталось загадкой. Исчезло Бобино жемчужное ожерелье. Пропажа обнаружилась утром, было очевидно, что ожерелье мог украсть только каирский хиромант. Бобочка не захотела даже и слушать об

этом, а когда он, Владимир, сказал, что позвонит в полицию, истерически зарыдала. А вчера вечером он случайно увидел на ее туалете закладную квитанцию венского ломбарда на это самое ожерелье. Что за тайна? Жемчуг, который он купил Бобе в Милане на прошлую пасху, стоит триста двадцать тысяч! Вилла в Опатии — восемьсот сорок две тысячи. Одни только магазинные счета в прошлом месяце за вино, икру и прочие мелочи на двадцать семь тысяч! А по одиннадцать тысяч за абонемент в театр для себя и Бобы он и позабыл. А домашние расходы? Еще с прошлого месяца на нем висит тысяч восемнадцать — двадцать долга, а в этом он еще не внес ни гроша. Ванда же ни слова ему об этом не говорит! А дорога в Вену? А новое платье? А оплата занятий маленькой Элеоноры, которая, по уверениям Бобочки, талант, вундеркинд и феномен».

«В сущности, Боба нехороший человек! И часто так гримасничает, словно играет на сцене! И элементарнейшего образования ей не хватает. К людям, с которыми она по каким-либо причинам разошлась, эта женщина совершенно равнодушна, и к человеку, ставшему ей безразличным, она относится с ледяной холодностью и смотрит на него, как с другой планеты. Однажды вечером

они слушали оперу, в партере сидел доктор Павлинич и с интересом разглядывал свою бывшую жену, которая открыто показывается с новым любовником. Со стороны Павлинича это было нескромно и доказывало его плохое воспитание, но загоревшаяся в глазах Бобочки ненависть была поистине звериной!»

«И откуда в ней такая жестокость? На лице у нее в ту минуту было такое выражение, точно она была готова всадить в него нож! А ведь тот человек в партере, может, вовсе и не думал ее оскорбить? Нет, Боба не страдает гипертрофией сердца!»

«А, с другой стороны, история с чахоточной Элеонорой разве не говорит о милосердии? Малышка целыми днями лежит, Боба ухаживает за ней, словно за каким-то высшим созданием, ночи напролет проводит у изголовья горбатой музыкантши, готовит ей лимонад, играет с ней, аккомпанирует на рояли и заботится о ней, как родная мать. О чем это говорит, если не о добром сердце?»

Сидит его светлость доктор Баллочанский в баре и смотрит, как танцует Боба. Колышутся женские плечи, юбки, ноги, лица, изгибаются тела в ритме негритянского танца, а его светлость

Владимир Баллочанский сидит в ложе, пьет коктейль за коктейлем и смотрит, как Бобочка скользит по паркету.

* * *

Точно восковой цветок, таял Владимир Баллочанский в руках Бобочки, и от этой размягченной, потерявшей стержень массы осталось лишь две-три сургучных печати, которыми суд опечатал его имущество — кассу, письменный стол, адвокатскую контору и его блестящую карьеру, вызывавшую столько зависти. Когда тучи сгустились, супруга Владимира, Ванда, несколько раз заводила с ее светлостью Патрицией Баллочанской, своей высокородной и хладнокровной свекровью, речь о Бобочке, «об этой настоящей преступнице, которая грозит разрушить ее жизнь и жизнь ее детей», о том, что надо предпринять какие-то конкретные меры и что она, Ванда, полагает, «что это долг ее светлости как матери Владимира!».

Между невесткой и свекровью всегда лежала непреодолимая пропасть, и старуха, вообще никогда никого не любившая и не выносившая сноху с первого дня, в те критические дни, когда еще многое можно было бы сделать, чтобы

спасти сына, оставалась абсолютно холодной и совершенно пассивной — par distance[52]. Когда Ванда, жалуясь на Баллочанского, приводила убедительные факты, старуха вставала в позу высокомерной свекрови, защищающей честь сына перед совершенно ей чуждой по крови и воспитанию женщиной:

— Тут, моя дорогая, слезами не поможешь. И его отец в те же годы внезапно начал проявлять склонность к женщинам minderwertig[53], чего у покойного до тех пор я никогда не замечала! Тут надо запастись терпением, в данном случае это единственное средство!

— Но, ей-богу, мама, это длится слишком долго! Поначалу я и сама думала, что лучше все предоставить времени, но это тянется уже второй год. Не будь Дагмары, я знала бы, что делать, но я связана, и мне кажется, что тебе надо взять инициативу в свои руки! Вчера тут была Тереза и рассказывала, что по городу ходят слухи о банкротстве Владимира как о свершившемся факте. А он принципиально не желает со мной об этом говорить!

---

[52] Примечания: 52
В стороне, на расстоянии *(франц.)*.

[53] Примечания: 53
Падшим *(нем.)*.

— Die Männer sind schon so![54] Тут ничем не поможешь! Schön ruhig, weiter Tee trinken und weiter warten[55].

— Но если слухи о его несостоятельности подтвердятся, и я и дети разорены!

Так разыгрывалась эта тихая и немногословная трагедия в сумерках между половиной восьмого и восемью, за остывшим чаем.

Опять его нет, опять позвонил, что занят, а утром, когда она, помогая повязать ему галстук, — он был так расстроен, что никак не мог с ним справиться, — залилась слезами, он погладил ее по голове и назвал своей скучной, старой гувернанткой.

В лихорадке последних дней Баллочанский потерял почву под ногами, он почувствовал еще непонятную ему, но сильную растерянность. Бобочка внесла в его сознание непоколебимое убеждение, что он жил глупо, фальшиво, неправильно, что жизнь его — цепь дурацких заблуждений и самообманов, сквозь которые он так и не докопался до своей сути. А эта женщина с непостижимой легкостью проникла в него,

---

[54] Примечания: 54
Таковы уж мужчины *(нем.)*.

[55] Примечания: 55
Приходится продолжать спокойно пить чай и ждать *(нем.)*.

открыв в нем самое сокровенное и затаенное! До нее он ползал по жизни встревоженным, дрожащим ребенком, а сейчас, когда он первый раз встал на ноги и почувствовал себя человеком, он немедленно столкнулся с материальной стороной жизни. С уголовным кодексом. Никогда еще он не отваживался признаться себе в том, что его интимная жизнь насквозь фальшива, и вот, когда он наконец чуть-чуть начал осознавать свое жалкое заблуждение, на него уже катятся лавины и разражаются катастрофы. Последние дни он провел в объятьях теплых женских рук, в пьяной компании карликов и горбатых девочек, мужчин, которые, охмелев, целовали золотые женские туфельки, ели рыбу с душком, тухлые яйца, курили опиум, нюхали кокаин; и лишь только сидящий в нем слизистый, пузырчатый, загнивающий монструозный зверь почувствовал потребность вытянуться подобно огромному допотопному чудовищу, пожить, забыться, перегрызть кому-нибудь глотку, еще ничего не произошло, а всему уже наступил конец.

Был уже подписан приказ об аресте, и он с высокомерной и пренатуральнейшей улыбкой толковал Ванде о том, что это пустяки, что ему надо срочно ехать в Голландию, а все эти мело-

чи попросту урегулируются соответствующим соглашением.

Детективы застали его в кабинете среди разбросанных актов, разорванных писем и полусложенных чемоданов, они вошли в ту минуту, когда он, открыв дверцу огромного старинного шкафа, уселся в нем, как на пороге дома, уставившись на царящий кругом беспорядок. В руках он держал Бобочкину серебряную подвязку и тихо, высокомерно смеялся. Сидел он в том самом шкафу, в котором когда-то застрелилась его бабушка: влезла, закрыла за собой дверцу, и там ее и нашли на другое утро — выстрела никто не слышал. Владимира еще в раннем детстве притягивал этот шкаф, он казался ему глубоким неприступным склепом.

Потом его таскали по судам, больницам, домам умалишенных, тюрьмам, пока, наконец, он не вернулся к Бобочке, и вот сейчас Баллочанский каждый вечер сидит в «Короне» возле кассы, читает газеты, играет в шахматы, пишет стихи и беседует с Филиппом о живописи и о художественном творчестве.

* * *

Солнечный знойный август клонится к закату. Вечер. Усталый и невыспавшийся сидит Филипп в саду под орехом не в силах избавиться от мучительной грусти, которая в последнее время прочно поселилась в его душе. Лето на исходе, приближается осень, зрелые груши падают с деревьев; вот еще один плод шлепнулся о крышу сенника и скатился в смородину, было слышно, как сломались две-три веточки и зашуршали сухие листья.

За оградой хрюкают свиньи и тихо, вполголоса скулит уже с самого обеда маленькая свинопаска Аница: ее ужалила оса, нога опухла, она плачет от боли, а помочь ей некому. Порывы ветра время от времени доносят людские голоса и пыхтение паровой машины: в Костаньевце идет молотьба. Сквозь ветви деревьев в струящемся знойном мареве под виноградниками чернеет потревоженное пахотой поле: безмолвная земля без конца и края, затканная пепельными сумерками. Во дворе, за домом, неожиданно возникает птичий переполох, слышится кудахтанье, квохтанье и шумное, взволнованное, нервное хлопанье крыльев, потом снова наступает тишина. Теп-

лые, тяжелые августовские облака прижимают к земле низко стелющийся по садам дым из труб, и в его пронизывающе-влажном и едком запахе чувствуется тяжеловесная неподвижность деревни и ее темных кровель.

Лежит Филипп в кресле, откинув голову, а в руке у него маленькая бронзовая Европа на задохшемся быке: детская игрушка либо надгробное украшение давным-давно канувших в Лету паннонских времен. Глухонемой пастух нашел ее на выгоне и принес Филиппу. Скульптурная миниатюра филигранной работы отвечала самому рафинированному вкусу и в то же время композиционно была решена очень просто и даже монументально.

«Здесь, на этих самых полях, находилась когда-то цесарская Паннония с мраморными городами, литейными и художественными мастерскими, где руки талантливых резчиков создавали чудесную скульптуру. Жизнь в городах кипела, в театрах ярко полыхали факелы, люди хлопали в ладоши, пили вино и громко выражали свой восторг. Артисты играли Тита Плавия и греческие трагедии, а сейчас здесь плачет маленькая Аница и хрюкают свиньи. Хрюкают свиньи, и надвигаются сумерки, и все тонет в сумерках, как

тот разоренный муравейник наверху на поляне. Своды, здания, водопроводы, дорожные знаки, памятники и мрак, в котором никто из живых уже не в состоянии создать такую совершенную игрушку, какой забавлялись когда-то художники, ныне лежащие в земле, под нашими ногами».

Старый романтик, приверженец идеи преемственности европейской культуры, Филипп загрустил, глядя на эту маленькую бронзовую фигурку, которую он не выпускал из рук с самого обеда.

«Когда-то тут среди благостной тишины ясного неба и штиля замкнутого в самом себе золотого века сверкало теплое море, а на столетних деревьях зрели золотые апельсины. Корабли в богатых гаванях с поднятыми парусами бороздили во всех направлениях синие воды: скрипели фелюги, груженные пряностями, пшеницей, бананами, ананасами и виноградом, — соблазнительнейшая картина мирной жизни римской Европы, когда она купалась в тихих заводях, ездила по свету на бронзовом быке и когда все краски горели свежестью помпейских фресок. А сейчас на римских гробницах стоит грязный пастушеско-скотоводческий Костаньевец и самые большие события последних тридцати лет это

то, что пономарь посадил грушу, на Мартинове пробурили новый колодец, на ярмарке купили таз для умывания и керосиновую лампу… А ведь рядом с этим проклятым Костаньевцем высится железная красная литейная, огромная дымная европейская кузница гремит своими молотами и наковальнями — траверсы, рельсы, фонтаны искр, раскаленные веретена, вечерние огни! Костаньевец же тонет в сумерках, хрюкают свиньи, и все гибнет, как разоренный муравейник!»

Филипп давно уже чувствовал, как его снова притягивают к себе магниты дымных городов: ноздри тосковали по запаху металла, уши — по громыханию машин; на темных улицах Запада есть хоть движение, и, как в лаборатории, все озарено зеленоватым мерцанием нового философского камня. В городах горы кожи, дичи, тканей, одежды, шелка, мыла, золотые подковы бархатных театров мерцают в затаенной тишине залов, речь людей звучит там, как музыка, а надо всем гремят дымные кузницы и ползут черные ремни! И чего он застрял в этом паннонском болоте, чего ждет, почему не едет?

Тревога, все возрастая, овладевала Филиппом. Он всегда чувствовал, что одинок в своих эмоциях, и из многолетнего опыта отлично знал, как

трудно передать окружающим силу собственных переживаний. Человек живет в замкнутом кругу своего мира, со своими представлениями о красоте, со своими страстями, порой необычайно сильными и властными (и поистине прекрасными!), но передать другим красоту и силу своей действительной страсти трудно, а часто невозможно и неосуществимо.

«Люди теплокровные, упрямые, себялюбивые животные; они живут в вони собственных испарений и, наслаждаясь смрадом собственного гниения, воротят нос от гнили ближнего.

Знакомиться, сближаться, ходить в гости, приносить, беспрестанно отдавать себя и быть счастливым тем, что есть человек, благосклонно воспринимающий правду твоих убеждений, — такова была суть взаимоотношений Филиппа с женщинами. Сколько среди них было глупеньких, близоруких, безликих кукол, к которым время от времени Филипп шел, переполненный эмоциями, а после оставались лишь неприятные, словно грохот кастрюль за дверью, воспоминания о жалких испарениях тела.

Блуждая годами без руля и ветрил, точно какой искатель интеллектуальных приключений, гонимый лишь жаждой скрытой и необычной

красоты по океану недоверия, безразличия и полного непонимания, Филипп все больше уставал и чувствовал все большую скуку. Но, познакомившись с Ксенией, он понял, что ей, единственной из женщин, которых он знал, было известно, что в жизни только мимолетные, случайные, незначительные, едва уловимые и на первый взгляд ничтожные внутренние переживания имеют цену. Ксения чувствовала эта органично, искренне, непосредственно; именно благодаря ее соучастию к его внутренним переживаниям и страстям, Филиппа так сильно влекло к этой женщине. Израненная, изломанная, с червоточиной в душе, Ксения видела очищающую силу красоты и приняла его поиски близко к сердцу с первого же дня.

Например, идея Филиппа о том, что в нас, как в старых могилах, живут другие, и мы похожи на дома́, набитые неведомыми покойниками, казалась Бобочке необычайно близкой и понятной. Она и сама часто ощущала, что сквозь мутную призму ее зрачков смотрят чьи-то другие, ей неизвестные глаза, она просыпалась по утрам, до рассвета (когда скрипят половицы, а над безлюдными улицами плывут тяжелые осенние тучи), с таким чувством, будто она снова погру-

жается в страшный сон, который снится совсем незнакомому ей и чужому человеку. Рядом с ней храпит Баллочанский, бледный, с впалыми щеками и подстриженными как щетка усами; у него не хватает двух передних зубов, и он похож на беззубого покойника. И с этим беззубым мертвецом она живет в низком домишке, окно которого заросло виноградом с уже перезревшими гроздьями и изъеденными листьями; хлещет по стеклам дождь; на шоссе крестьянин в сермяге гонит корову. Утро, пора вставать! Надо идти в зеленую кухню с кирпичным полом, разжигать огонь, варить кофе, мыть посуду в теплой жирной воде и отправляться в кафе за мраморную стойку считать белые куски сахару для первого послеобеденного турецкого кофе.

Мучимый тайной своего рождения, Филипп терялся в необъятной массе таинственных явлений, а для него всякое соприкосновение с действительностью с детских лет скрывало в себе загадку: негромкий ход часов, густой запах жасмина, серые квадраты стен при свете туманного утра, прикосновение холодного стекла к пылающим губам, горький вкус воды, которая теплыми мячами катится по больному горлу, влажные ручки дверей, усталое тело — все для

Филиппа было предметом постоянных поисков первооснов.

Детство, он лежит в жару, и ему мерещится, будто сквозь него, как сквозь туннель, проходят вереницы покойников: слуги, епископы, каноники, камердинеры, неизвестные посетители табачной лавки. Об этих своих первых бредовых видениях он рассказывал Ксении в самом начале их знакомства. И она слушала его с необычайным вниманием. Он говорил о запахах, о робких касаниях рук, о забытых, замерших звуках, которые, как сыры, плесневеют в нас под стеклянным колоколом слуха. Она слушала, как этот чужой для нее человек говорит о странных, скрытых просторах, о далях, о чудесных рассветах, и в ней раскрывались свои собственные просторы, собственные дали и чудесные рассветы. В самом деле! Глядя на множество портретов своих будапештских бабок и прабабок из рода Радаев, Бобочка часто размышляла о том, что она, в сущности, такой же портрет (только что живой) и ей самое место висеть в золотой раме над комодом в каком-нибудь темно-коричневом апартаменте с желтыми креслами.

Мертвецы, неведомые, гипотетические мертвецы, жившие в Филиппе, представляли собой

бесконечные комбинации самых невероятных предположений и навязчивых идей: епископы, слуги, пожилые дамы с сойками в мрачных комнатах, фотографии из старинного альбома, польские чиновники в отороченных мехом кунтушах, и все они жили в нем, кричали, толпились вокруг его детской постели. А позже, став взрослым, он чувствовал, как растут его ногти, растут сами по себе, точно на руках уже лежащих в могиле покойников, и ему казалось, что эти ногти, так же как и волосы, принадлежат не ему, а неведомым, живущим в нем мертвецам. Человек не что иное, как сосуд чужих вкусов и радостей!

Филипп был уверен, что в его сознании живут такие картины, которых он лично наверняка не видел; это на что-то свое и по-своему смотрел один из тех, что поселился в нем. Слушая, как, точно круги на воде от удара птичьего крыла, расходится и замирает в отдалении ясный колокольный звон, Филипп часто думал о том незнакомце, чье восковое ухо, пользуясь его ухом, слушает сейчас этот звон. А порой внезапно, без какого-либо повода, на Филиппа находила невыносимая тоска: это томился в нем другой незнакомец, кем-то покинутый. Его (Филиппа) никто не покидал, но он с тоской слушал гудение

телефонных проводов на крышах и думал о том, что темное пространство заполнено загадочным шелестом листьев и далекими раскатами грома.

Бобочка по натуре своей не была пьяницей. К алкоголю она питала явное отвращение, но она столько выпила за свою жизнь, что могла бражничать три ночи подряд, смутно ощущая лишь глубокую и непреоборимую потребность напиться до бесчувствия и умереть где-нибудь в грязной канаве на обочине костаньевецкого шоссе.

«Бог знает, кто из Радаев, когда и в какой канаве кончил жизнь, и чей горячий, кровавый язык сейчас касается стакана, из которого пьет она, но вся жизнь Ксении прошла в пьяном угаре».

Раздумывая о себе, о своей жизни, об истоках и границах своей личности, Филипп терялся в туманных образах, не в силах обрести ясность.

В самом деле, выходило так, что наши руки сохранили тепло чужой жизни, что поломанные игрушки, треснутые ручки и щербины фарфоровых чашек, письма, молитвы, терзания — все это не что иное, как ответы на старые, давно прочитанные письма, эхо забытых слов, воспоминания о былой вине и муки из-за чужих горестей.

Гоняясь больше двадцати лет за женщинами, за красотой и за прочими фикциями, Филипп

свое влечение к женщинам и к женственности объяснял чужими комплексами, горечью и болезненным страхом одиночества, и ему казалось, что, когда он имел дело с женщинами, он фактически оставался в стороне, бессильный и жалкий, а вместо него действовал другой.

Лоно женщины, представлявшееся ему символом женственности и материнства, впоследствии обычно оказывалось лишь теплой утробой, о которой глупо было мечтать. Чувство реальности в Филиппе вообще было слабо развито, он плохо ориентировался в вещах, не чувствовал их связи. Хилый и колеблющийся как стебелек ириса на ветру, Филипп боялся увидеть во сне рыбу, мертвый оскал зубов, а особенно тусклый блеск заячьей шерсти на цилиндрах: Это те, другие, что жили в нем, брали предметы и вещи руками в перчатках, а его пальцы утратили способность реального осязанья. Причину своей боязни блестящих, черных цилиндров Филипп однажды случайно разгадал: мать рассказала ему, что, когда имение Валенти в Польше продавали с аукциона, судебные исполнители, по словам ее отца, тогда еще ребенка, были в высоких, ворсистых черных цилиндрах.

В общении с Бобочкой неуверенность в иден-

тичности своей собственной личности поначалу проявлялась весьма слабо. Ровным зеленоватым светом сияла луна, когда ему впервые захотелось позабыть в объятиях этой женщины о своей противоречивости и раздробленности.

Густой зеленоватый свет, звуки едва уловимы, словно проникают сквозь материю. В полумраке квакают лягушки, а он ждет ее в сквере перед аптекой, в глубине аллеи у небольшого фонтана. Сорвав по дороге (он и сам не знает, где и когда) колокольчик вьюнка, он мял увядший цветок в потных пальцах. Она пришла, от нее пахло сеном, и она была теплая, как девочка. В ту ночь она много и подробно рассказывала о своем детстве: как расчесывала волосы густым гребешком, какие у нее были тугие косы, как в пансионе стояла на коленях на ранних утренних мессах. В лунные ночи она плясала в тени каштанов и ребенком страшно боялась восковых фигур святых у алтарей под стеклянными колпаками: у одной такой восковой будапештской святой в шитой золотом парче на руках и ногах запеклась жирная, густая, черная кровь.

* * *

В исступлении бурной, безумной ночи святого Роха желанный сон вспыхнул фантастическим фейерверком. Святой Рох Костаньевецкий уже больше ста лет почитался защитником и покровителем всех прокаженных, эпилептиков, уродов, юродивых и калек от Бикова, Краводера, Ямы и Турчинова до Блатни и от Блатни до жабокречских виноградников. В этот день на телегах и пешком через леса и овраги сюда стекались толпы людей, чтобы помолиться перед деревянным чудотворцем. О нем было известно, что двадцать два года тому назад он воскресил девочку из Ялжабета, которую укусила змея и которая уже два дня лежала мертвой. Этот святой Рох Костаньевецкий был во всех отношениях удивительным святым: время от времени он ворочал глазами, цветы у его ног никогда не увядали, а источник перед липой на холмике у часовни никогда не иссякал — это подтверждали самые древние старики округи. Вода источника исцеляла язвы, являлась чудотворным средством от подагры и тяжелейших случаев паралича: возле источника постоянно можно было видеть три-четыре воткнутых в землю костыля как благодарность

святому чудотворцу от тех, кто выздоровел и стал ходить, восхваляя Его Честь и Славу.

День святого Роха выдался солнечный, ясный, алели расцветшие маки, волновались спелые хлеба. На кустах и виноградниках, залитых ярким светом, играли радужные блики. Бобочка с Филиппом решили пойти к святому Роху на праздник. Идти надо было часа два по глухому буковому лесу, где в изумрудном сумраке безмолвно стояли старые деревья; летний ветер разносил семена, и слышно было, как дятел то здесь, то там стучит по стволам, словно провожает лесных путников от бука к буку, подавая им время от времени тайный сигнал. Выйдя довольно поздно, они пришли к святому Роху под вечер, когда уже вовсю дымили костры и на вертелах и сковородах шипела и потрескивала свинина.

Смеркалось. Тени становились все гуще и темней, лица паломников — зобатых подравских табунщиков и пастухов, приехавших сюда на жеребых, сытых кобылах (сейчас они возятся с ведрами, дышлами, осями и таскают лошадям охапки сена), казались в серо-пепельном свете красными масками. Пьяная баба с воспаленной, багровой от рожи физиономией истерически выкликала и вопила, сжимая в руке горящую

восковую свечу; гремел оркестр костаньевецких пожарных, палила церковная пушка, завывали шарманки, плыли кроваво-красные вечерние облака, и все это производило впечатление дьявольской вакханалии. Под навесами лабазников и шатрами трактирщиков лилось вино, пенился медок со льдом, починались бочки свежего пива, и в этом водовороте жареных колбас и медовых пряников, в пьяном языческом гомоне вокруг церкви бушевала дикая, первобытная стихия — косматая, как горилла, с извозчичьими ручищами и трехцветным изображением святого Роха за шляпой. В собравшихся возле церкви пьяницах бродила первобытная, темная сила; обезумелая, дьявольская какофония трубных звуков, шипение бутылок и пушечные залпы были голосом языческого скопища. У маленькой средневековой часовенки святого мученика раздавался топот копыт кентавров и косматых ног нечестивого; в звуках шарманок слепцов, в криках детей, в щелканье кнутов, в суете девушек — во всем этом необузданном веселье возле печально-смиренных алтарных ликов было что-то от победной пляски дикарей. Подвыпившие парни хохотали над пьяной старой нищенкой, пинали ее коваными сапогами, а она каталась по

земле и клялась всемогущим богом, что не спала на Шимуновых левадах с черным.

— Врешь, ты, бабка, отдалась черту! — горланили подкованные, мордастые, богобоязненные христиане-паломники в черных смазных сапогах и киноварного цвета куртках и пинали седую, пьяную горбунью ногами и плевали на нее, как в отхожее место.

В церкви стоял густой смрад; над серым облаком дыма, ладана и копоти бездарное дилетантское распятие с главного алтаря благословляло этих убогих и нищих духом; в руке Христос держал прозрачный бледно-розовый пасхальный стяг, а у его ног лежал курчавый белый ягненок.

Возвращались домой через лес уже в поздних сумерках, Филипп рассказывал Бобочке о своем давнишнем замысле написать Христа. И вот теперь в шумной толчее разгоряченных тел, в вонючем чаду мангалов, ладана, жареной свинины, пота, стиснутый под сводами церкви накрахмаленными женскими юбками и сытыми набитыми желудками, Филипп вдруг разрешился страшным видением: никогда еще ни один его художественный замысел не являлся ему с такой отчетливостью и неотвратимостью, ни об одной своей идее он еще не говорил с таким

увлечением, как сейчас, идя под руку с Бобочкой по лесу, где с каждым шагом становилось темней и темней.

Он говорил, и слова его разбивали пелену тумана, ему становилось все яснее, как воплотить эту тему, чтобы под кистью прежде всего проступила основа замысла и сохранилась перспектива неоглядного пространства!

Пьяные, вонючие пастухи, лоснящиеся жирные крупы раскормленных кобыл, потоки меда и пива, груды мяса, истерические вопли, мелькание задов, голеней, ляжек, толстых, заплывших салом женских ног, лодыжек, колен, локтей, юбок, ржание лошадей, похотливое шевеление плоти — вот компоненты дьявольской оркестровки этой безумной паннонской свадьбы, пьяно орущей на горе подле римского мученика-чудотворца. Трубы, море света и море красок, как на стене сикстинской капеллы, и — вакханалия голых животов, грязных, раздавленных грудей, пьяных ведьм! Эта вакханалия дьявольского, тупого, развратного, чего-то фламандского в нас и вокруг нас должна быть по-брейгелевски темным, бесконечным нашествием троглодитов, которое, создавая фон, звучит грозовым аккомпанементом главной темы, то есть всего сатанинского, чудовищного,

змеиного, изначального и первобытного, начиная с липкой грязи под нашими ногами, и эту главную тему картины следовало бы решить как огромный монументальный гобелен!..

Как жалок воскресший Христос, возвышающийся со своим светло-розовым стягом над пьяными, горбатыми старухами, возчиками и скотоводами! Истинный Христос, оказавшийся в нашей паннонской сутолоке, в вонючем содоме наших ярмарок, должен бы восприниматься как высшее начало, извечное неприятие всего плотского и языческого. Он должен быть скалой, скатившейся со звездных высот, а не блеклым и бездарным творением провинциального дилетанта, плохо владеющего темперой.

В пьяной толчее Христос над алтарем вдруг представился Филиппу закованным в железо, мраморным титаном Микеланджело. Его ноги огромны, как базальтовые столбы, вот он взмахнул кулаком, и резкий свист ураганного ветра, словно ножом, разрезал воздух над этим грязным сбродом. Эти руки, эти божественные, неземные кулаки должны подняться на все в нас земное в той неистовой ярости, которая порой накапливается в летние вечера в черных тучах, когда уже слышатся далекие раскаты грядущего

потопа, когда под ногами дрожит земля и когда единственный мост, по которому человек может спастись из грязи и смрада, — это астральное, мраморное голое тело титана Христа. День гнева, трубят сверкающие фанфары, возвещая битву, реют знамена, свищут пули, гудит виолончель, звенят арфы, обилие серого и чернильного цветов подчеркивает сверхъестественную белизну мраморной фигуры Христа в противоположность трехцветной печати штирийских молитвенников в руках глупых горничных. Христос ни в коем случае не должен быть бидермейерским блондином — эдаким мечтателем с белокурыми локонами и бородой à la Alfred de Musset в стиле восьмидесятых годов, — Христос вовсе не рафаэлевский гермафродит, о котором грезят старые девы на церковных скамьях. Надо, наконец, написать настоящего Христа, хотя бы для того, чтобы раз и навсегда отбить охоту к псевдорелигиозному заигрыванию с кистью художника и превращению больших художественных замыслов в базарные олеографии! Надо, наконец, показать столкновение нашего языческого, паннонского бытия с этим бледным Человеком, которого повесили, как вора, но который и по сей день остается символом Человека, показать

ту ненависть ясновидца, который понял на кресте (находясь на той необычной высоте, с какой смотрят на нас все повешенные), что нечисть под нашими ногами можно вывести только гранитом. Надо показать ничтожный результат двухтысячелетних усилий превратить варваров в людей, — куда там, чего уж больше, когда священники, слуги бога, скорее виноградари и скотники и ближе к своим вонючим женам под полосатыми перинами, чем к нему, который так и остался на виселице! Кроме пьяных ведьм, грязных дорог, где и поныне блеет нечестивый, кроме ярмарочных торгашей и красных зонтов, надо воскресить на полотне и покойников, поднять их из могил, освободить их из этого отхожего места — смрадной помойной ямы наших дней! А над ядовитыми потоками, над волнующейся массой распаленной плоти, над лицами в одинаково застывших личинах маскарадных шутов, над пьяным дьявольским содомом, разрушением и мраком, объявшим в ту ночь церковку на горе, над этими тучами сброда и зияющими могилами, где-то в заоблачных высях должен пронестись неистовый порыв ветра.

Картина позволит заглянуть в бушующую пучину этого разнузданного веселья, от которого

полшага до мерзкого кровавого преступления: ревут пьяные сваты, плещутся на ветру ленты, испуганно бьют копытами лошади, вдребезги летят стаканы, а над всем возвышаются горы обнаженных животов женщин, белых, рыхлых животов, с мельничный жернов величиной, и на них, словно на вздувшихся утробах мертвецов, пляшут тучи пьяных сатурналий, пожирающих мясо с собственных костей и повернувших свои вонючие зады ко всему, что светит людям, и весь этот ад дымится, тлеет и катится в бездну.

Ночной кошмар — дымная, душная от свечного чада церковь, оранжевое мерцание лампад на престолах, а рядом опьяняющий полумрак, блюющая в канаве полураздетая девка, над которой вьется тошнотворно-чувственный Эрос, кровавые струпья и гноящиеся раны перед святым Рохом — рождал в голове Филиппа жуткие в своей обнаженности, выворачивающие душу мысли и образы, которые словно тоже курились чадным дымом грошовой свечки. Они все сильнее сгущались, обступая в темном лесу, как страшные призраки, и его самого, и его спутницу Ксению Радаеву. Филипп считал, что на заднем плане картины надо поставить, как на старинных священных изображениях, купол церковки

на горе в окружении лип и лугов, а на переднем плане в грозовом вихре безумной оргии дать всех этих калек и кликуш, пропойц и обезьян с их пудовками, флягами, колбасами, бараньими и свиными тушами!

— Как изобразить запах жареной свинины, шум ярмарки, ржанье лошадей, хлопанье кнутов, как показать варварскую, паннонскую, болезненную страсть иллирцев к движению, заставляющую пьяных возниц гнать лошадей через ветхие мосты и лететь вверх тормашками в грязь, разбивая головы и ломая кости (а ведь эта наша самоубийственная страсть к дроблению костей еще не нашла своего художника!), это уже вопрос чистого вдохновения! Необходимо решиться, взяться за дело, рискнуть.

В лесу становилось все темнее, в лад словам Филиппа по ущельям и долинам разносилось далекое громыхание, испуганно шелестели листья на деревьях. Он говорил о грозовых завихрениях и спиралях, о демоническом смехе, дьявольском хохоте, которому лишь одному под силу низвергнуть наших деревянных божков и нашу вековую отсталость, а в подтверждение его лихорадочным речам в темном лесу, меж огромных столетних деревьев раскатисто хохотала летняя гроза —

облака, точно не выдержав чрезмерного груза, в мгновенье ока разорвали небесную твердь в клочья.

Филипп говорил о кипящих, как в котле, страстях, о том, что мятежная плоть еще ждет, чтоб кто-то прислушался к ее дыханию, к ее пульсу, что вокруг кишмя кишат еще невиданные и ненаписанные картины, надо только увидеть и осознать их чудовищную одновременность, их несовместимость, разбросанность, единовременность, их беспричинность и необъяснимость, понять, что жизнь есть лишь непостижимое и одновременное движение разных начал, судорожное столкновение инстинктов и страстей. Филипп говорил, а вокруг с воем кружила буря, она, казалось, с корнем вырвет весь лес и унесет его в глубокую теснину, где горный ручей шумел, точно огромная бурная река. Хлынули темные густые потоки проливного дождя, летели сломанные ветки, черные листья и мох, кричали перепуганные птицы, сверкали молнии, сопровождаемые такими страшными ударами грома, будто разом рушились все каменоломни, пещеры и темные лесистые вершины; казалось, что в зеленых вертикальных зигзагах вставали черные базальтовые титаны, чтоб вырвать из

земли деревья, сломать дубы и растоптать двух маленьких людей, спрятавшихся под слабую защиту молоденького бука.

«Suche die Buche»[56], — сказал вчера Филиппу старый Лиепах, досаждая ему за ужином охотничьими рассказами. Однажды в горах Лиепаха захватила ночная гроза, и он, следуя совету своего деда, опытного горца и охотника, укрылся под буком.

«Молнии ударяют в дубы и сосны, но еще ни одна молния не ударила в бук! Weiche die Eiche, suche die Buche»[57], — говаривал старый Лиепах, пожунский советник и первый дворянин костаньевецкого рода, своему внуку — великому жупану Сильвию.

Прижавшись друг к другу, промокшие до нитки, они стояли под буком, лицом друг к другу, и ждали, когда прекратится гроза. Филипп говорил о необозримом множестве богов, о том, что все они, начиная с идолов Конго и кончая одинаково дурацкой темперой на наших алтарях, пользуются одним и тем же реквизитом, пугая верующих громом и молнией. Вымирают целые виды богов,

---

[56] Примечания: 56
Ищи бук *(нем.)*.

[57] Примечания: 57
Берегись дуба, ищи бук *(нем.)*.

подобно видам животных в природе, а наш сиволапый мужик, несмотря на падучую, коросту и проказу, пляшет, косматый и пьяный, лакает из четверти и, качаясь, идет весь в крови, и никто еще не удосужился его написать. Так и канет все в бездну, ничего не оставив для потомков!

Собранная, спокойная, не моргнув бровью, стояла Бобочка возле Филиппа и слушала его необычайно внимательно и с большим интересом, словно это происходило в теплой комнате за чашкой чаю. Когда в нескольких шагах от них молния рассекла ствол дерева, она сказала — и в этом не было ничего напускного, — что ей совершенно безразлично, умереть сегодня или завтра.

Да, это все-таки замечательно — оказаться в беде рядом с мужественным человеком, за спиной которого прожитая жизнь и который уже подвел под ней черту. Опираясь на такую неиссякаемую силу духа, можно творить!

Острота той бредовой, безумной, по-настоящему катастрофической ночи прошла. Все постепенно бледнело и увядало, как лист после знойного дня. Филипп не осуществил ни одного из своих замыслов, мощной волной захлестнувших его в ту ночь, приготовил было несколько картонов для гравюр, но, так и не начав, забросил

их на шкаф. Он ничего не делал, ничего не читал, только лежал и томился от неподвижности и бесплодной скуки.

Сейчас позовут ужинать, там его будет донимать старый Лиепах, потом он потащится в кафе читать газеты, ждать Бобу, а ведь во всем этом нет ровно никакого смысла! А потом он побредет по пыльной дороге обратно на виноградник, усталый, со слипающимися глазами, зная, что впереди тяжелая бессонная ночь.

У трактирщика Шимунека окна еще освещены. Оранжевый свет вырывается сквозь два квадрата в густую темень; на зеленой, как плесень, стене комнаты внизу, в желтом свете керосиновой лампы, видна в золотой раме картина с сюжетом из «Севильского цирюльника» Россини: Фигаро и дон Базилио. Стены — цвета молодой травы, на столе красные сочные ломти арбуза, пивные бутылки, сало, грязные тарелки, из кухни доносится звякание посуды, а хромой Шимунек сидит, сгорбившись над ларцом, и считает деньги: в этот вечер у него было какое-то торжество. Слышно, как в сарае захлопали крыльями куры, из лесу донесся далекий крик совы, ветер прошелестел в листьях, и вновь воцарилась долгая гнетущая тишина. В Костаньевце, где-то внизу, за мельни-

цей, раздался одинокий глухой выстрел. И снова стало тихо. Спят старые соломенные кровли, сараи, спят утки по птичникам. Влажный аромат теплого кукурузного хлеба смешивается с запахом скотных дворов; шуршит на ветру кукуруза; падают редкие тяжелые капли дождя, подходит осень, а он по-прежнему попусту тратит время на странную надломленную женщину.

«Почему она сегодня так нервничала? С первого дня, как появился здесь этот загадочный тип, она отошла от Филиппа и держится с непонятной холодностью. Что за человек этот Кириалес? Откуда приехал? Жует себе английскую трубку, сидит в облаке сладкого дыма и смотрит на все так странно, словно ему известно больше, чем простым смертным. Он старый Бобочкин приятель, но где она познакомилась с этим грузином? Кавказский грек, доктор медицины, искатель приключений, кто он, этот человек с длинными, пожелтевшими от табака, тонкими, холодными пальцами? Зачем он приехал, что тут делает и куда едет? И к чему все это вообще клонится?»

* * *

Сергей Кириллович Кириалес, кавказский грек, воспитанник Сорбонны, дважды доктор — дер-

матологии и философии, сыгравший в драме этих больных, малодушных и растерянных декадентов роковую роль, был русским эмигрантом. Появился он в кругу Бобочки в эру Баллочанского. До этого он работал в Риге фельетонистом «Rigaer Tageblatt». Мать его была греческой еврейкой с одного из малоазиатских островов, а отец, Кирилл Павлович, — русским офицером.

Этому пожилому, холодному и замкнутому человеку перевалило, вероятно, за пятьдесят, однако прочитать что-либо на его лице о его жизни было совершенно невозможно. Хмурый, бесстрастный, смуглый, с иссиня-чернымн буйными кудрями, доктор Серж (как в свое время величала его Бобина свита) говорил на всех европейских и ближневосточных языках, исколесил вдоль и поперек все континенты, взирая на мировые события и проблемы весьма безучастно, словно все это происходило на другой планете.

Филипп сразу почувствовал над собой какую-то непонятную власть Кириалеса; грек обладал какой-то удивительной способностью разрушать замыслы Филиппа, подрывать его идеи и увлечения, лишать всех физических и духовных сил.

С раннего детства сталкиваясь с разными людьми, Филипп всегда ощущал зависимость от них и

странную стесненность. С людьми же, больными от природы, истеричными, надломленными и психически неуравновешенными — словом, в какой-то мере неполноценными, Филипп совершенно терялся. К разным фантомам и феноменам он испытывал болезненный интерес, понимая их незаурядность и исключительность; эти люди вызывали в нем какую-то особенную физическую неприязнь (часто граничащую с отвращением), он чувствовал на себе их ярую ненависть и злобную враждебность ко всему, что составляет его личность, и все-таки не мог избавиться от их губительного влияния, и, как губка, впитывал в себя их ядовитые флюиды.

К таким людям принадлежал и Сергей Кириллович Кириалес. Отец Сергея Кирилловича, Кирилл Павлович, сын киевского купца, был офицером. Слабоумный, с раздутой от водянки головой, с шеей, заплывшей салом, с разбухшим, как у утопленника, лицом безжизненного белого цвета, какой бывает у грибов, проросших в сырых подвалах, он продремал весь свой век на откормленных белых кобылах. А дед Сергея всю свою жизнь провел в темной глухой улочке Киева, в лавке с ацетиленовой лампой, среди развешанного готового платья, точно среди висельников; в

жутком зеленоватом свете ацетилена, среди груд вонючего сукна все лица казались склизкими, как у утопленников. И вдруг в отпрыске этого тупого, плешивого, гнилого и вырождающегося рода — в Сергее Кириалесе — забурлила еврейская, восточная кровь. Кто знает, не стал ли бы и он пьяницей-офицером или слабоумным торговцем готового платья, если бы разыгравшиеся события не перебросили его из Санкт-Петербурга в Тибет, а из Тибета через все континенты — к Бобочке Радаевой в Костаньевец, откуда в одну дождливую ночь он исчез также внезапно, как и появился. Трудно сказать, было ли в поступках Кириалеса, с такой пагубностью отражавшихся на Филиппе, в самом деле что-то магическое, или все дело было в болезненных свойствах характера самого Филиппа, который часто поддавался влиянию не совсем нормальных людей, что всегда приводило к тяжелейшим кризисам и надломам.

Кириалес вызывал у Филиппа органическую робость, почти страх. Еще в гимназии Филипп до ужаса боялся явлений и вещей, которые вызывали в нем гадливость, например, шляпа преподавателя математики порождала в нем гораздо больший страх, чем сама математика

или седой дурак-преподаватель с виргинией в кармашке сюртука. У одного из однокашников Филиппа — его звали Анджелко — были башмаки, которые на Филиппа тоже наводили ужас. Прошло много лет со времени мальчишеских побоищ в сиротском доме, а он по-прежнему цепенел от страха, вспоминая эти горные башмаки — грубые, грязные, затянутые веревками, без языков, с позеленевшими носками! Точно так же, увидав смуглое лицо Кириалеса, встретив пепельный взгляд его мутных, налитых кровью глаз и ощутив прикосновение его влажной, холодной руки, он почувствовал страх. Разговаривая с ним, Филипп вдруг начинал заикаться, не мог выразить свои мысли, забывал о том главном, что хотел сказать, и сам не верил собственным доказательствам. А Кириалес нимало не скрывал своего презрения, всячески подчеркивал свое интеллектуальное превосходство, и делал это зачастую очень резко и неприглядно.

Кириалес вообще не верил в какие-либо способности и таланты людей, а Филиппа как художника не ставил ни во что. Он не сомневался в совершенной бездарности Филиппа, считая его заурядным болтуном, который обманывает себя красивыми словами, но никогда ничего

не создаст. Рассуждая на всевозможные темы, он всегда поражал Филиппа своей огромной, всесторонней, глубокой эрудицией и не упускал случая продемонстрировать беседующему с ним неврастенику жалкую и баснословную пустоту его артистизма. Слово «артист» звучало в устах этого удивительного грека тяжелейшим оскорблением; в первый же вечер знакомства он заговорил о нервной системе Филиппа и о вялой и недостаточной деятельности желез внутренней секреции с хладнокровием и безапелляционностью врача, ставящего больному совершенно безнадежный диагноз. После нескольких слов, которыми они обменялись у Бобочкиной кассы в кафе Штейнера, Кириалес выложил, что он, Филипп, натура пассивная, склонная во всех отношениях переоценивать собственные возможности, непостоянная, с абсолютно расстроенной и неподдающейся лечению нервной системой и вконец разрушенными центрами воли. Он сказал, что Филиппа ждут бесплодные муки, словоблудие, самообольщение, питаемое половым возбуждением, а может быть, и самоубийство. Впрочем, последний вариант маловероятен, поскольку Филипп по природе своей слаб и труслив, а слабые и трусливые особи в животном мире

обычно себя не убивают, а продолжают вести свою безнадежную жизнь клопа…

Об этих мучительных вопросах Кириалес говорил с непереносимой прямотой и резкостью — точь-в-точь ворон, вспарывающий человеческую утробу и клювом растаскивающий кишки по грязи! И что самое страшное — в словах его была железная логика. Выражался он просто, сжато, с недвусмысленностью свода законов. Вместе с известным японским гистологом он много лет занимался нашумевшими гистологическими срезами, один такой срез мышиного волоска носит название — «кириалица»! Разговаривая о чем-либо с Филиппом, грек обыкновенно цеплялся за какую-нибудь мелочь и, забавляясь, расправлялся с Филиппом, точно с растерянным, истеричным, нервнобольным недоноском. Кириалес обладал удивительной способностью в две-три минуты заставить Филиппа выложить все свои мысли и эмоции, точно вылить воду из стакана, и Филипп спохватывался только тогда, когда уже чувствовал себя совершенно разоруженным и опустошенным.

После ночных разговоров с Кириалесом Филипп не мог ни спать, ни думать, ни читать, ни говорить и, точно глухонемой или заика, долго

еще не мог сбросить с себя власть этого страшного человека. Чтобы освободиться из-под непонятного и тяжелого гипноза, надо было призвать все силы своего интеллекта и громадным напряжением воли встать на пути разрушительным началам, которые с упорством термитов увеличивали его врожденную склонность к негативизму. Под влиянием речей Кириалеса у Филиппа стали появляться самые безумные, попросту сомнамбулические идеи.

Взять, к примеру, разговоры о живописи. Филипп и сам, исходя из собственных наблюдений и многолетнего опыта, не был склонен переоценивать значение живописи как таковой, но суждения Кириалеса о живописи действовали на его замыслы, как соляная кислота. После разговоров с греком перед Филиппом оставалась груда вонючих сожженных полотен, ненужный хлам.

— Что сегодня происходит в живописи? Все свелось к полуграмотным, полуманиакальным, весьма ограниченным и абсолютно ненужным рассуждениям: тот стал фовистом вовремя, этот перенял палитру Матисса на восемь лет позднее, чем третий, сделавший это пять лет назад; кто придерживается направления Курбэ-Манэ, а кто неоклассицизма, колоризма, неоколоризма, фор-

мализма, объективизма — главное, расставить всех по полочкам: a, b, c, d и школам: альфа, бета, гамма, дельта! Школа «гамма» класс «с», паннонский вариант второй половины тридцатых годов двадцатого столетия, появившийся на пять лет позже школы «дельта» класса «f» среднеевропейского варианта, испытавшего влияния таких-то и таких-то! Сезанн, Ван-Гог — это понятно, но что такое сезанизм, ван-гогизм? Что для вас живопись? Биологическая морфология учит, что и в природе существуют свои направления и модификации, но разве дело в том, стоит ли полотно между картинами Иеронима Босха и Тулуз-Лотрека или между Калло и Дюффи, — важно одно, есть ли у художника свое лицо. А головы наших художников нынче напоминают порожние тыквы, безликость же, естественно, приводит к чужим влияниям! Отсюда глупая и бессмысленная мазня нынешних художников!

Разговор о живописи начался с того, что Филипп упомянул, что его давно уже мучает идея написать улицу в движении, написать жалких, серых прохожих с больными зубами и долгами, тощих, издерганных, которые устало тащатся по дымным улицам.

— Но, господин мой хороший, вы смотрите,

как идут по улицам люди, и потом выхолощенно нагромождаете свои диковинные наблюдения, а эти наблюдения, прошу заметить, вовсе и не ваши, вы их вычитали, надергали отовсюду понемножку без всякого смысла и вот, играя словами, полагаете, что уже преодолели окружающую вас материю. А вы ничего не преодолели, смешно говорить о том, чтобы, пользуясь такими методами, можно было что-то сделать, и меньше всего написать хорошую картину! Какая глупость — пытаться изображать, как идут по улице люди с больными зубами и долгами! Это псевдолитературный бред, а не живопись! Каково сегодня значение живописи? Во времена Филиппа Второго или ему подобного покойного манекена живопись можно было еще себе представить в виде придворной декорации или гобелена, но сейчас? На определенной ступени цивилизации у людей будут распахнуты окна в действительность, у них будут парки и фонтаны, настоящие парки и фонтаны, будущим цивилизованным людям не понадобятся пышные кулисы барокко. Живопись изначально являлась лишь попыткой заменить действительность. И зачем мне сейчас ваша картина? Да еще о людях с больными зубами и долгами? К чему вообще такие картины? Они

просто не нужны! Долги и больные зубы штука неприятная и излишняя и в действительности, а тем более в суррогате!

Филипп слушал Кириалеса и словно внимал собственному голосу, идущему из самых сокровенных тайников души. Он чувствовал, что этот отвратительный человек говорит правду, что все на самом деле так, что глупо сейчас заниматься живописью, а особенно с его бездарным и маниакальным стремлением создавать суррогаты действительности. Неприятный голос врывался в хаос противоречий и тумана и отвечал на самые для него животрепещущие вопросы. В Филиппе снова начинался трагический процесс распада, его снова захлестывала волна бессилия и подавленности. В душе одно желание — утопиться в грязном болоте. Кириалес опустошал его, методично лишая всего: наблюдений, действий, идеалов, ощущения полноты жизни, и показывал мир таким, каким он есть на самом деле и каким, в сущности, его видит и сам Филипп. И Филипп чувствовал себя совсем пустым, как комната, из которой вынесли предмет за предметом и в которой ничего не осталось, кроме одной маленькой истины, что еще тихо, точно догорающая свеча, потрескивает на столе.

* * *

Людей Кириалес относил к одному из самых низших отрядов животных.

— Отдельно взятый человек — явление весьма грустное и в природе, можно сказать, почти невероятное! Ведя уже довольно давно стадный образ жизни, человек человеку по-прежнему человек, то есть самый жестокий из всех тварей. Бесстыдное, лживое, глупое, злобное, обезьяноподобное животное! Самый смешной вид животных — обезьяны, а насколько в поведении обезьяны больше логики и непосредственности, чем в человеке? После обезьяны, которая, со всех точек зрения, стоит ниже прочих животных, человек самый обезьяноподобный. Он прожорливее гиены — та, нажравшись до отвала, часто тут же, у падали, и засыпает, а человек, нажравшись так, что у него от сытости раздувает живот, продолжает жрать, поглядывая на себе подобных голодных зверей и довольно облизываясь… Во мне царит мрак. Светили кое-какие звезды, но и они погасли. Не верю я ни в кропоткинский социальный инстинкт, якобы в нас заложенный, ни в доброту человека. И не считаю человека перспективным животным, из которого можно вывести облагороженную

породу. Либо этот процесс настолько медленный, что я потерял всякую надежду! Одним словом, я стал мизантропом, и весьма воинственным мизантропом!

Какие звезды ему светили, о которых он часто упоминал («да, светили, и даже яркие»), утверждая, что они погасли, и давно ли они погасли? Откуда взялся этот чужак, этот бродяга без роду и племени, этот беглец и эмигрант? Как сложилась его страшная и последовательная система ненависти и глумления над всем, что хоть сколько-нибудь возвышает человека над животным? Гнездилась ли ненависть ко всему человеческому в самой его натуре, или он сводил счеты за старые раны? И где этого пожилого человека могли так изранить, что он весь клокотал от ненависти и скрежетал зубами?

Бобочка рассказывала Филиппу о трагедии, якобы происшедшей с Кириалесом в юности. Двадцать с лишним лет тому назад в Санкт-Петербурге казаки застрелили его невесту. Он ждал ее у афишной тумбы, она пришла вся окровавленная и тут же рухнула на землю. Ее отвезли в больницу, и она умерла в ту же ночь от кровоизлияния. Все было точно сон, от которого осталось лишь ее кимоно с ласточками и глициниями — он

просидел над ним несколько ночей, не смыкая глаз, барабаня указательным пальцем по крышке полированного стола, как безумный.

Это был, видимо, рассказ, придуманный, чтобы поразить Бобочкино воображение. Окровавленная девушка. Кимоно с ласточками. Могло ли это быть причиной столь яростной мизантропии для человека, у которого уже вся жизнь позади?

Во всяком случае, еще студентом Кириалес участвовал в белом движении и в двадцать третьем году бежал из Семипалатинска в Забайкалье и больше в Россию уже не вернулся. В Западную Европу он пробрался через Тибет, где-то в Бельгии или в Эльзасе был осужден и несколько лет отсидел в крепости.

Как-то вечером они втроем (Баллочанский, Филипп и Кириалес) выпили литр ракии, и грек очень живо и увлекательно рассказывал о том, как давным-давно в Бельгии ждал, что ночью за ним придут; в ту ночь он окончательно вынес свой приговор человеку.

— Мучаясь бессонницей, я долго ворочался с боку на бок в постели и никак не мог уснуть. Зажег свечу, выпил глоток воды и прислушался к тиканью часов на столе. Время шло, проходила минута за минутой, приближался роковой час,

когда за мной закроются тяжелые крепостные ворота, а друзья-чиновники как ни в чем не бывало будут заниматься текущими делами. Провинциальные чиновники революции будут по-прежнему собираться в пригородных кабачках, где в задымленных, темных залах залитые вином столы выглядят окровавленными, словно в лавке мясника. В прокуренном кабаке, освещенном слабым желтым светом, видны неизменные физиономии: тут выпяченная вперед овальная нижняя челюсть, там игольчатые зубы растленного грызуна; мутный, заплывший глаз за стеклом очков третьего дурака, кроваво-красные губы четвертого, а вот и пятый, злой горбун со страшной ямой в беззубой пасти…

Он всего этого больше не увидит. Не услышит блеянья козлиных голосов за красными столами под керосиновой лампой. У одного из чиновников, по фамилии Блюм, закрученные усы и манеры кельнера (постоянно кто-нибудь из них носит фамилию Блюм), и все они перейдут к текущим делам, а он, Кириалес, останется сидеть в подземельях крепости и будет слушать, как крысы скребут стены… Попытка отделить идею от подобных личностей оказалась для него роковой; извечно существует идея о любви к ближнему,

о том, что ближнего нужно любить, как самого себя, множество резолюций было принято за последние две тысячи лет по этому поводу, однако это ничуть не изменило физиономии людей: те же овальные нижние челюсти, игольчатые зубы, похотливые губы горбунов, дрожащие пальцы туберкулезных тупиц; и эти создания по-прежнему блеют, жуют жвачку, от скучнейших резолюций переходят к очередным пунктам повесток дня, а под этими пунктами, как в могилах, лежат сломанные судьбы живых людей. Он много лет пролежал под надгробным камнем одной из таких скучных резолюций, и теперь он уже не даст себя обмануть никакими средневековыми (схоластическими) уловками! Он давно уже носится с мыслью написать комедию об иезуитах семнадцатого столетия, в которой выразит свой взгляд на мир, но у него хватает ума и честности, чтобы понять необъятность своего замысла и недостаточность собственных способностей. А какая ясность взгляда у всех иезуитов: и у тех, вчерашних, и у этих, нынешних! Иезуиты социализма, какая дьявольская выдумка! В один прекрасный день человеку надоедает заниматься продажей трусов и зеркал, и он становится чиновником революции. Сидит в прокуренных кабаках, при-

нимает повестку дня, словом, работает в новом торговом предприятии с политическими дивидендами, придерживаясь точки зрения, что ближнего своего нужно любить, как самого себя!

— Люди есть люди, и ничто человеческое, к сожалению, им не чуждо. Если и эти последние усилия ни к чему не приведут, тогда уж ничего не остается. А вы, значит, за всеобщее и неотложное уничтожение? — попытался возразить Филипп, вообще-то абсолютно равнодушный ко всяким социальным движением.

— Нет, не за уничтожение! Напротив! Я лишь отделяю верующих от неверующих! Верующий стоит на первоначальной ступени человеческого мышления: эта ступень ниже знания и гораздо ближе к животному миру, чем это принято думать. А все громкие фразы о человеке по-прежнему идут в русле представлений и верований верующих! Чиновники синдикатов со своими повестками дня и иезуиты на амвонах провинциальных церквей по сути дела одним миром мазаны. А суть в неизменном голосе желудка, вот ради этой двуногой ненасытной утробы люди, точно попугаи, и талдычат всякие резолюции! Ведь человек рождается один раз! И хотя мир вне нас объективен и настолько долговечен,

что эта долговечность кажется нам вечностью, тем не менее, дорогой мой, человек живет один раз! И кто этого не понимает, тому лучше было бы и не родиться! Меня же возмущают не те, кто за идеи готов в самозабвенном и самоотверженном порыве покончить самоубийством, а те ничтожные попугаи, что с пафосом твердят резолюции с амвонов и в передовых статьях, — вот кто одиозен! Глупые птичьи перепевы с чужого голоса мне отвратительны! Тридцать тысяч революций свершается в природе ежедневно; когда обезьяна впервые разожгла костер, это была наверняка великая революция: возникли причина и следствие. Когда человек посеял первое зерно, приручил лошадь, поднял рычагом камень, — это тоже были великие революции в преодолении невежества и страданий! Процесс превращения орангутанга в художника-импрессиониста, жаберных в земноводные, рабов в христиан — процесс революционный, только очень длительный, и, конечно, какая уж тут вера? Земля, несомненно, круглая и вращается вокруг солнца, но просидеть из-за этого три года в каземате — непростительная глупость, хотя я и сам погубил свою молодость из-за такого вот коперниковского вздора, пытаясь доказывать

очевидные и банальные истины!

Филипп слушает этого оригинала, отмечая про себя, что тот манипулирует трудными и серьезными вопросами с легкостью жонглера, подобно капеллану, который, сидя у них за спиной, лихо щелкает костями домино по мраморному столику. Конечно, Сергей Кириллович Кириалес повторяет старые, избитые истины, но до чего впечатляюща его речь, даже вопреки очевидности она звучит убедительно.

Боба слушает его, затаив дыхание. Видно, что она прямо упивается каждым его словом; грек старый ее знакомый, а в прошлом, видимо, и любовник! И разве эта совершенно нескрываемая недоброжелательность по отношению к Филиппу и его живописи не объясняется в какой-то мере скрытой ревностью? Все то, что грек говорил о живописи, в основном правильно, во всяком случае, в части, касающейся Филиппа. Но о социальных проблемах он говорит довольно путано. Правда, они уже выпили литр ракии и на столе появились новые пол-литра, и каждый из них, наверное, выкурил по двадцати сигарет, и сейчас в пальцах дымится по новой, но рассуждения грека об инфантилизме Филиппа, которое обусловлено замедленным половым развитием, просто-на-

просто наглость! Что якобы вся его философия не что иное, как запоздалое юношеское томление, с одной стороны, и последняя вспышка чувственности, с другой. А поскольку в организме его уже появились первые признаки старости, то все это выглядит довольно-таки смешно и уродливо. Но почему слова этого грека надо принимать за веру, даже не пытаясь ему возразить? Потому что он дерматолог и доктор философии? Потому что он просидел три года в какой-то крепости? Впрочем, кто знает, сидел ли он вообще в крепости, и кто он на самом деле и откуда взялся? Баллочанский одобрительным кивком сопровождает каждое слово Кириалеса, и Филипп в глазах этого паралитика выглядит обыкновенным слюнтяем и дураком, который позволяет над собой издеваться! Грек рассуждает о живописи, не имея о ней ровно никакого понятия! Говорит избитые фразы и фарисействует так же, как его иезуиты! Да и сам он словно какая-то тайная тень иезуитов. И откуда только его принесло сюда?

* * *

Густой дым в кафе клубится серыми тучами вокруг предметов и людей. Плесневело-зеленый зал с глубокими бидермейерскими сводчатыми

окнами, с керосиновыми лампами, бумажными цветами и картиной в золоченой раме, изображающей смерть Кармен, плывет в желтоватом удушливом тумане; на зеленом сукне щелкают бильярдные шары, и это щелканье слоновой кости, сливаясь со звяканьем стаканов, хлопаньем карт и стуком костяшек домино по мраморным столам, создает традиционную, унылую, пьяную музыку провинциальных трактиров.

Капеллан, врач сельской больницы доктор Миттернахт и землемер играют в домино; кто-то громко распространяется об исключительной силе капеллана, уверяя, что тот за одну ночь чуть до смерти не замучил трех известных своим темпераментом дамочек: сначала докторшу, за ней супругу старшего инженера и, наконец, почтмейстершу, впрочем, и Резика, жена пречестного отца-настоятеля, тоже не осталась в ту ночь обойденной. Сквозь табачный дым и вонь кислого вина грохочет противоестественный варварский смех, одинаковый во всех трактирах этих заболоченных лесов, и здесь же, у кассы, Филипп рассуждает об «одухотворении материи».

Филипп еще не пьян, но уже изрядно на взводе. Он в смятении. Его бьет внутренняя дрожь, нервы напряжены до предела, смятение растет

и постепенно парализует его волю, у него уже нет сил владеть собой. Это видно и по тому, как он курит, как нервно скручивает все новые и новые сигареты, как все чаще и стремительней опрокидывает рюмку за рюмкой, как беспокойно летают пальцы от портсигара к мундштуку, от мундштука к графину, от пуговицы на пиджаке к бровям, хватаются за предметы, потом судорожно сжимаются и, разжавшись, снова продолжают свой все более и более тревожный бег.

В этой встревоженности видна кровная обида человека, оскорбленного наглостью и бесцеремонностью какого-то иностранца, который явился неизвестно откуда и на глазах близких ему людей оскорбляет и мучает его вот уже несколько дней.

Бобочка сначала сидела у кассы, клала ваниль в стаканы с пуншем, отпускала кусковой сахар, кому-то налила рюмку полынной, одновременно внимательно прислушиваясь к разговору за столиком по соседству, а потом пересела к ним и лишь время от времени поднималась, чтобы сделать какое-нибудь распоряжение, и снова подсаживалась к троице, которая допивала третий графин.

Сегодня вечером она чувствовала себя особенно

измученной. Так бывает перед болезнью — усталость, головокружение, постепенно переходящее в полуобморочное состояние, упадок всех физических и душевных сил. Хватит с нее дыма и смрада. Она по горло сыта и разговорами и сливовицей. И этим своим паралитиком в целлулоидовом воротничке, который по-идиотски кивает головой и радуется каждому меткому словцу грека: Филипп вызывает в нем явную антипатию, вот он и радуется, что нашелся человек, который может вправить мозги художнику! Кириалес, конечно, умнее, и нервы у него еще не разыгрались, но сливовица уже ударила в голову, и его все больше тянет пить. Он тоже устал и разбит, и у него где-то глубоко в душе сидит затаенное желание напиться до бесчувствия и свалиться в придорожную грязную канаву. Наскитался по белому свету, а тут еще пристал с ножом к горлу неврастеник со своей «одухотворенностью материи». И что это за проклятая «одухотворенность материи»?

— Ради бога, не морочьте мне голову вашими прописными истинами.

— Вы мне не даете закончить мысль, перебиваете на каждом слове, и так бесцеремонно, что это уже становится наконец невыносимо! Прошу вас, дайте мне объясниться. Сказать то, что я думаю!

Я уже говорил, что для творческого процесса характерно состояние одухотворения, без которого немыслим…

— Простите! Но слово «душа» обозначает лишь известное состояние тела! Душа связана с телом, это очевидно и само собой разумеется.

— Вот видите, вы совершенно не даете мне говорить. Неужто от ваших тибетских занятий у вас ум за разум зашел! Питаю скромную надежду, что вы все-таки будете настолько любезны, что позволите написать художнику картину, позволите ему сесть, забыть о себе и, в состоянии полной отрешенности от мира, написать картину, как, скажем, Рембрандт писал свой «Ночной дозор» или «Встречу в Эммаусе», ведь это, черт возьми, в каком-то смысле не так уж естественно и банально, разве нет? И не так уж исключительно обусловленно, как вы говорите, телом, и это вовсе не «известное состояние тела», а выдающееся и чрезвычайно редкое явление, не имеющее ничего общего с вашим «телом»!

— Да, вы это хорошо сказали: не так уж естественно! Рембрандт — явление неестественное, это я допускаю! Неестественное, но ни в коем случае не сверхъестественное! В живописи (разрешите мне включить сюда и ваши полотна)

я не нахожу ничего сверхъестественного! Нет ничего неестественнее, чем ходить на задних лапах, то есть, простите, я хотел сказать: ходить на задних лапах столь же неестественно, как быть Рембрандтом! Пожалуй, даже еще неестественней! А полтора миллиарда четвероногих ходят на задних лапах! Находите ли вы это явление сверхъестественным? Я лично ни в малейшей мере! А наша так называемая цивилизация не что иное, как удаление от естественного, поскольку все, что мы подразумеваем под этим словом, находится в прямой зависимости от того факта, что некоторые четвероногие ощутили совершенно неестественную потребность подняться на задние лапы! Неестественную потому, что в природе это случай единственный, но вовсе не сверхъестественный. Я, по крайней мере, не нахожу здесь никаких элементов нематериального. Все в нас материально, все связано с телом, какая-нибудь «Встреча в Эммаусе» Рембрандта (которая, кстати сказать, называется не так)[58] является тоже не чем иным, как выражением материального в нас и вокруг нас.

— Но, простите, вы почитайте, пожалуйста, что

---

[58] Примечания: 58
Имеется в виду картина Рембрандта «Христос в Эммаусе».

об этом пишут сами создатели! Поэты и философы всех веков сходятся на том, что подлинное художественное творение обладает какой-то неподдающейся разумному осмыслению суггестивной силой, и эта непостижимая сила, эта потрясающая убедительность художественной материи не носит материального характера, вернее сказать, не носит исключительно материального характера и ее не так-то просто объяснить, как это представляется вульгарным материалистам!

— Извините, пожалуйста: к «подлинным художественным творениям», которые, по вашему мнению, обладают какими-то недоступными нашему пониманию суггестивными силами «сверхъестественного происхождения», вы относите и свою собственную художественную продукцию?

Озлобленная наглость вопроса уколола Филиппа, как иглой. Казалось, и в без того болезненный нервный узел впилось ядовитое жало, в голове волнами заходило знакомое уже ощущение непонятной тревоги — в такое состояние приходят змеи при звуках флейты заклинателя.

Сейчас надо стать грудью на защиту своих произведений, схватиться с этим невеждой не

на живот, а на смерть! Но, мысленно окинув усталым взглядом, словно сквозь пелену тумана, свои жалкие творения, вспомнив свои бесплодные потуги, Филипп, с трудом ворочая языком и вперив в пространство стеклянный взгляд, тихо, учтиво, вежливо, почти угодливо спросил, что хочет сказать Кириалес?

— Полагаете ли вы, что ваши собственные полотна являются доказательством того, что художественная продукция обладает какой-то сверхъестественной силой? Считаете ли вы себя адептом каких-то высших миров, недоступных вульгарным материалистам и простым смертным?

Это было брошено грубо и свысока, словно разговор шел перед зеленым сукном судьи и присяжный переводчик растолковывает неясные подсудимому понятия на его безграмотном идеалистическом жаргоне.

Но ведь он, Филипп, говорил не о себе, а о Рембрандте, и с его стороны это было проявлением деликатности, а этот тип бестактно вывернул все на свой лад. Невозможно говорить о таких психологических тонкостях языком юридической или гимназической логики. Алогичность эстетических эмоций является первой предпосылкой

эстетики: иначе как объяснить, что часто достаточно одного цветового пятна, одного мазка или одного слова, чтобы вызвать чувство наслаждения, красоты, сочувствия или силы, времени и пространства и прочих жизненных потенциалов и радостей! И пусть Кириалес объяснит — если сможет! — силу этого алогического воздействия искусства на души людей с помощью своей логики «тела».

— Логика! Вы произносите это слово, сударь мой, с презрением прирожденного художника! А что такое, по вашему мнению, логика? Вы полагаете, что взятая в твердый переплет книга, скучное тиканье часов на черной плите под распятием — это логика, а воробьи, весело чирикающие на деревьях, радующиеся майскому солнцу, не имеют к ней отношения? Логика заключает в себе целый комплекс ясных, прозрачных, как стекло, систем, ценность которых наверняка в миллиарды раз больше всяких ваших художественных миров и конструкций! А разве, прошу прощения, философия элеатов, Платона и так далее, вплоть до знаменитого вопроса Канта: «Was ist Wahrheit?»[59], обладает меньшей ценностью, чем

---

[59] Примечания: 59
«Что есть истина?» *(нем.)*

безнадежно глупые наивности какого-нибудь Бенвенуто Челлини? Помилуйте, существование дистанции между чистым и практическим разумом, непостижимое без логики столкновение априори и апостериори, неясная масса Кантового Grundstoff'а[60], математическая трансцендентность понятия бога, это, дорогой мой, далеко не гимназические уроки. Система Данте прозрачнее всего там, где царит в чистом виде логика томистов! Ни альбигойцы, ни лютеране, ни якобинские посредственности (подобно смешным эпигонам) не смогли бы сделать без логики ни одного шага в своем так называемом движении. Держали ли вы когда-нибудь в своих руках мозг человека? Чувствовали ли когда-нибудь тяжесть этих тысяча четырехсот граммов серой массы? Знаете ли вы, что такое человеческий церебрум? Если бы вам, как мне, пришлось двадцать тысяч раз кроить и резать это церебральное вещество, вы бы задумались не только над интуитивной, но и над другими функциями нашего мозга.

Слушает Филипп, как из уст этого отвратительного человека бесконечным солитером выползают тяжелые слова, необъятные поня-

---

[60] Примечания: 60
Элемент *(нем).*

тия, они надвигаются на него, вьются над ним, обхватывают его голову, точно свинцовыми компрессами, и Филиппа мутит, как от ядовитых испарений. А черный человек сидит перед ним в густом облаке дыма, его запекшиеся кровавые губы шевелятся, точно две пиявки, и он цедит сквозь зубы о трансцендентальной дедукции, об игре понятий между Эйлером, Ньютоном и Гюйгенсом и с такой иронией жонглирует старомодными метафорами Канта «Auf den Flügeln der Ideen»[61], словно тот его подмастерье и они вместе пишут фельетоны в «Rigaer Tageblatt». Говорит об аналитике понятий, о трансцендентальности Пространства и Времени в столкновении с проблемами физиологии; о том, как философские схемы конца восемнадцатого столетия отразили, с одной стороны, довольно развитую ступень мышления, а с другой — напоминали типичную для барокко легкую инструментальную пьеску, пустейший мотивчик которой окрашивает все действия, чувства и мысли, так что все, переходя из одной логической категории в другую, минует эту музыкальную среду «логической» барочной философии, подобно вибрирующему

[61] Примечания: 61
На крыльях идей *(нем.)*.

в воздухе аккорду, который уже утерял силу, но все еще сохраняет свои свойства и постепенно умирает, растворяясь, как дым. («Но, разумеется, чтобы понять это, нужно иметь слух, господа же художники, поскольку они глухи от рождения, обычно полагают, что подобных явлений вообще не существует!»)

Поток слов захлестывает Филиппа, он ощущает глубокую, прямо-таки органическую потребность дать отпор этой назойливой, явно мистификаторской и лишенной какой-либо серьезной основы болтовне, но в то же время понимает, что не в силах совладать с уймой неясных и малоизвестных ему фактов, которые выглядят вполне убедительными, липнут к сознанию, как гуммиарабик. И Филипп начинает чувствовать себя, как муха на клейкой бумаге.

А русско-левантийский мистификатор разглагольствует о том, что если человек в своем развитии достигает уже такого уровня, что может почувствовать в своем хребте эволюцию позвоночных, почувствовать на себе процесс, превративший его из четвероногого бессловесного животного в двуногое существо, почувствовать свой человеческий церебрум как космическую доминанту и увидеть в метаморфозах своего

собственного эмбриона этапы, через которые прошли все организмы — от простейшей клетки до жаберных, от жаберных до земноводных и до его собственного церебрального вещества, то такой человек вправе не позволить вводить себя в заблуждение ничем, в том числе и мистерией живописи!

— А то, что живопись, к сожалению, до сих пор еще существует, говорит лишь об отсталости мышления! Отражать жизненные явления сегодня, в эпоху бихевиоризма, примитивными символами и аллегориями, на мифологический манер, так же отстало, как отсталы египетские иероглифы в сравнении с любой простейшей современной формулой! И вот приходит не очень одаренный и не очень образованный художник и требует, чтобы Кириалес «логикой телесных доводов» объяснил тайну эстетических эмоций! Получать наслаждение от музыки и картин может только невероятно отсталый в культурном отношении человек, а раз уж такой человек отстал настолько, что может наслаждаться примитивными иероглифами, то трудно определить, какое искусство на него, собственно, действует (если вообще действует), во всяком случае, ничего сверхъестественного здесь нет, это точно!

Прежде всего в нас много усвоенного, приобретенного воспитанием, муштрой, выучкой, в нас выдрессированна привычка к ретроспективным воспоминаниям о когда-то пережитом. Мы разматываемся как клубок. А когда заглядываешь в собственное нутро, это всегда вызывает сентиментальные чувства. Взгляд назад порождает грустную покорность перед бренностью и скоротечностью жизни. Наше самодовольное и суетное «я» очень охотно вспоминает «самое себя» в прошлом. Классики. Вергилий: «Forsan et haec olim meminisse iuvabit»[62]. (Кто из нас не видел скверных иллюстраций, на которых Данте впервые мечтает о Беатриче, и кто из нас при этом не подумал о себе?) Лавры! Мраморные бюсты! Нет в мире человека, который хоть раз в жизни не представил себе своего мраморного бюста. Словом, романтические бредни, обычно связанные с любовными переживаниями. Воспоминания, Наше «я» разнеживается от воспоминаний. Наше «я» частенько развлекается мыльными пузырями, однако далеко не каждый представляет себе, что речь идет исключительно о мыльных пузырях и лимонадной пене. В жизни

[62] Примечания: 62
Может быть, и об этом нам будет сладко вспомнить *(лат.)*.

человека случаются минуты слабости, когда даже самые черствые натуры настроены по-женски сентиментально и с удовольствием глотают слезы умиления! И тут я с вами согласен, некоторое действие оказывают стихи, интимная прелесть стихов и картин. Все мы предавались мечтам в лиловых сумерках, и у всех в памяти живут милые и тихие движения милых и тихих женщин. Увидеть это запечатленным на полотне всегда приятно! Так оно и должно быть! Иначе не было бы красоты вообще. Ни этого вашего лиризма, ни, наконец, поэзии и живописи, как логического завершения этой лирической настроенности. Но опять же я решительно утверждаю, что в природе этого действия нет ничего нематериального, а тем более сверхъестественного! Мы, как эхо, отзываемся на чужие переживания собственными воспоминаниями! Наша телесная, физиологическая, а другими словами, если хотите, наша духовная сущность становится в это мгновение музыкальным инструментом. Люди создали себе весьма лестное представление о сверхъестественной утонченности этого «инструмента», забывая, что он не что иное, как необычно запутанная система довольно длинных и подвижных кишок с разными отверстиями и привесками!

— Пожалуйста, без пошлостей…

— Разве я должен отвечать за жизненные факты, которые вам, как профану, кажутся пошлыми? Мало того, я пошел, собственно, на трансцендентальную уступку вам, объявив наше тело инструментом! Я не так немузыкален в ваших комплексах, как вы в моих. Я даже допускаю, что существуют такие произведения искусства, на которые мы отзываемся так, словно они водят по нас смычком, как по натянутой струне! Но считать этот отзвук возвышенным, непостижимым и даже сверхъестественным явлением, мне кажется, по меньшей мере нескромно: мы не отдаем себе отчета в нашей физической ничтожности и во всех прочих, вытекающих из нее свойствах.

Бросив первую свою реплику, Филипп тут же понял ее несостоятельность. За вечер грек произнес уже несколько сотен фраз. Хорошо, Филипп не согласен с его теориями, однако сама манера его изложения не так уж заурядна, чтобы ей можно было противопоставить дешевую фразу о том, что это пошло! Желая как-то поправить дело, Филипп, весь покраснев, забормотал:

— Вы нарочито грубы в своих заключениях и просто-напросто жонглируете определенным набором жизненных истин, играете на пара-

доксах. Все это по сути дела пустая болтовня! Ведь очень просто, встав на такую точку зрения, которая на первый взгляд не лишена убедительности, переворачивать смысл с ног на голову. Это пустозвонство, игра в слова, вид нигилизма, и только, а пустозвонство и нигилизм — почти синонимы. Вы ни за чем на свете не признаете высшего смысла!

«Плохо говорю, — думал про себя Филипп. — Ни одного конкретного возражения! Разбивать его взгляды надо более мощными средствами! Но с какого боку подойти, каким путем? Нигилизмом тут и не пахнет, позиция грека вовсе не голый нигилизм! За всем этим кроется что-то темное. Это не пустая болтовня!»

Сергей Кириллович Кириалес смотрит на сидящего перед ним растерянного, с издерганными нервами человека и думает о своих собственных расстроенных нервах. Если бы этот недоумок-художник знал, что с ним разговаривает безвольный человек, сущая развалина, старая истлевшая тряпка, непригодная даже для того, чтобы об нее вытереть ноги! Он-то, Кириалес, старый искушенный диалектик, понимает, что в словесном споре самое главное — бить противника его же собственными доводами. Прочесть

в душе человека его уязвимые места и выдать их ему, чтобы он послушал самого себя, — в этом альфа и омега диалектики! А прочти кто-нибудь его собственные мысли, какая бы жалкая вышла картина! С первого же дня он заметил, что художник сомневается в себе, сомневается в своих способностях. И он тут же поймал его, как собака перепелку. А сейчас вот (из-за пьяного тумана ему его даже немного жаль) издергал его, хотя все это лишено всякого смысла.

— Жизнь, и искусство в том числе, не обладает каким-то определенным, а тем более — высшим смыслом! В нашей жизни все так устроено, что даже самые дорогие для нас мгновения по сути дела совершенно бессмысленны. Приятное щекотание нервов не нуждается в каком-то высшем смысле, хотя от этого нисколько не теряет своей привлекательности. Скажем, тело женщины, стакан вина, сигарета, дым, осень, сливовица… ваше здоровье, дорогой маэстро, давайте чокнемся и выпьем за здоровье госпожи Радаевой!

Филипп хмуро чокнулся, выпил за здоровье Бобочки и все так же хмуро и раздраженно заметил:

— Все окружающее вам кажется грязным, как накожные болезни! Какой-то дерматологический

взгляд на вещи! Я, к сожалению, не дерматолог!

Сергей Кириллович едва заметно улыбнулся про себя себе и своим собственным горестям.

«То, что он дерматолог, далеко не худшая его сторона! Вот сидит перед ним потерпевший крушение художник, бывший, в сущности, человек, у которого в жизни, похоже, нет абсолютно никакой цели, кроме как обманывать самого себя эстетским филистерством (и так на протяжении всей жизни систематически обманывать себя гипотетическим существованием живописного таланта!), сидит поседевший, обрюзгший, с синими кругами под глазами, испитой человек и не может взглянуть на себя в зеркало, смотрит, так сказать, вообще и полагает, что необычайно прозорлив. Как это все печально!.. Сидит тут с этой кассиршей в вонючем трактире, целыми ночами болтает о воздействии невидимых сил, о магических излучениях, о чудесном значении горящего в нас святого огня, а по сути дела прилепился к этой страстной, несчастной бабе, и вот теперь они все трое катятся в глупом и запутанном клубке неизвестно куда — таков, примерно, диагноз status praesens![63]»

---

[63] Примечания: 63
Теперешнего положения! *(лат.)*

Разодранными клочьями мелькают отрывки мутных пьяных речей грека в сознании Филиппа. Ему хочется возразить, но все эти сложные умозаключения подавляют его, и он не находит нужных слов.

«Что плел этот невежда об отсталости египетской клинописи? Имеет ли он понятие о египетском искусстве? Видел ли этот аферист хоть одну-единственную египетскую бронзу? Или, скажем, бледно-зеленые египетские светильники на саркофагах с прозрачными кристаллами известняка и рельефами загробных символов? Как можно так бросать слова на ветер? Он, Филипп, должно быть, и в самом деле запоздалый романтик, него взгляд на вещи в известной степени, вероятно, романтичен, но так жонглировать истасканными материалистическими понятиями, кстати сказать, наукой давно уже опровергнутыми, могут только такие бывшие, интеллектуально истасканные дерматологи!»

Филиппу хочется одним единым взмахом руки сбросить со стола весь этот звякающий и брякающий шум истертых словесных штампов (как стопку не имеющих цены фишек), но он никак не может взять себя в руки. Одновременно с желанием сопротивляться в душе появляется тихая

подавленность. Какой смысл говорить глухому о музыке? К чему толковать варварам об орфических радостях и о том, что такое, в сущности, орфическая экзальтация? Верх глупости говорить о прекрасном, глубоком, во всех смыслах проблематичном начале, неведомом, непознанном, тайном, сверхъестественном и самом в нас непосредственном, — об этом стеклянном блеске последней нашей серебряной игрушки, оставшейся нам как последняя радость и последняя утеха в окружающем нас болоте! Растолковывать картонным октаэдровидным мозгам, не имеющим понятия о таинственности этого блеска?! К чему? Колдовская сила таинственной игры в красоту так непреложна, что ею непрерывно уже целые столетия тешатся все континенты, расы, культуры, эпохи, времена, а тут выныривает из вонючего дыма бродяга без роду и племени с трубкой в зубах и пытается все свести к дешевому анекдоту, самые сокровенные порывы свести к механическому действию «исключительно телесного», словно в наших творениях нет ничего от духа, словно египетская бронза сегодня менее живая, чем семь тысяч лет тому назад, когда она горячей вышла из литейной!

Филипп махнул рукой и заметил только, что,

по его мнению, с таким вульгарным материализмом далеко не уедешь! Ни с какой точки зрения! Все это лишь мертвые слова, а жизнь между тем идет, давая миру в бесконечных вариантах непостижимую, таинственную красоту! А все то, о чем говорит Кириалес, — развязный фельетон, и только!

— Сказать по правде, я жил и на фельетоны, но никогда не гордился тем, что был фельетонистом. Вы же свои живописные фельетоны в припадке шизофрении провозглашаете сверхъестественной и непостижимой загадкой и воображаете, что ваши пестрые, масляной краской намалеванные фельетоны сверхъестественного происхождения!

— О неизвестных мне и неясных вещах я привык говорить с уважением; я бы никогда не осмелился говорить в вашем присутствии о чем-либо из области кожных болезней с таким чувством превосходства, с каким вы говорите о живописи! Мне для этого не хватает интеллектуальной наглости, с простодушием посредственности я не боюсь сказать, что мне, в отличие от вас, не все ясно. Некоторые понятия я оставляю и неосквернеными! Я не вульгарный материалист, не циник, не дерматолог. И если вы двадцать семь

тысяч раз держали в руке этот паршивый срез церебральной ткани, то я двадцать семь тысяч раз дрожал перед своим полотном! Я верю в чистоту художественного познания как в единственную чистоту, которая еще существует в окружающем нас свинстве! Вы меня поняли? И я не позволю себя оскорблять, вы меня поняли?

— И вы полагаете, что ваш крик вызван чистотой художественного познания?

— Да бросьте вы наконец! — Филипп толкнул стол с таким ожесточением, что опрокинулся графин, рассыпался сахар и сливовица полилась Баллочанскому на колени.

Что за пошлость и глупость! Какая бесплодная трата времени говорить с глухонемыми, сумасшедшими и маньяками! Какое понятие имеют эти варвары о восприятии художника? Что они знают о том, что нужно смотреть не назад, а только вперед! Непосредственно, чисто, как бы умывшись, без единой предвзятой мысли! Без подсказки, не сквозь чужие очки, а соответственно своим собственным эмоциональным возможностям: вне пространства, вне времени, не думая и не мудрствуя лукаво! А он, Филипп, еще не растерял свои эмоциональные силы, он необычно живо чувствует, что живопись вовсе

не «оттиск птичьей лапки в грязи» и не «восковое литье», как уверяют эти варвары. Живопись — талант, и это как раз то, чего бездари никогда не могут понять. А в таланте заключена именно та сила, которую никакой материей не объяснишь, и функции этого таланта очевидны, они стоят над обычными функциями разума и материи и недоступны нашему пониманию!

С улицы послышался тревожный шум.

Оттуда с некоторых пор доносились громкие и пьяные голоса подводчиков, топот сапог, хлопанье дверей, щелканье кнутов, потом раздался чей-то крик и тут же поднялся истошный вопль:

— Убили! Убили!

Все выбежали в темноту.

Перед домом лежал человек в куртке киноварного цвета с распоротым животом. Кишки вывалились а грязь. В свете фонаря, которым кто-то взволнованно размахивал над головой раненого, дымилась необычайно красная кровь. Кровавое месиво ярко-красного распоротого живота, зияющее мясо, горячий жидкий краплак, пропитавший киноварную куртку и заливший сапоги, темная дымящаяся лужа — все казалось призрачным и неясным. Слышалось пугливое фырканье лошадей. Запах теплой крови встрево-

жил животных, один конь бешено рвался, норовя перепрыгнуть через дышло, звенел удилами и бил копытами.

— Вот это хорошо, — бормотал Баллочанский, нагнувшись над умирающим, который хрипел, точно зарезанный бык, — это хорошо! К чему много слов? Берешь кухонный нож — и прямо в брюхо! Это проще всего! «Mir nichts, dir nichts!»[64]

Лицо Баллочанского при неверном свете фонаря казалось мертвенным. Нижняя челюсть безжизненно отвисла, в уголках губ пенилась слюна, как во время припадка падучей.

«Этому ничтожеству стало плохо от ракии, — решил Филипп, сам совершенно трезвый, словно он не выпил ни капли. — Надо отвести его домой, а то свалится где-нибудь в канаве. «Mir nichts, dir nichts!» Странно!»

* * *

Два дня после этой пьяной ночи Бобочки в кафе не было; говорили, будто у нее ангина. На третий день под вечер Филипп решил ее навестить. Моросил дождь, надвигалась хмурая желтая осень.

---

[64] Примечания: 64
Ни мне, ни тебе! *(нем.)*

Филипп пошел было по тропе кратчайшим путем, но кто-то унес переброшенную через ручей кладку у омута, где поили скотину, пришлось вернуться и идти мимо кирпичного завода, а потом подняться к Бобочкину дому со стороны двора, через виноградник. Незавешенное окно ее комнаты было освещено. Филипп подошел вплотную: за столом сидел Баллочанский и при мерцающем пламени свечи читал газету, в тени на красном одеяле постели шевелился какой-то непонятный черный клубок, мелькали белые пятна обнаженного женского тела: ноги, бедра… Происходило что-то невероятное. Человек в черном и голая женщина в тесном сплетении тел — точно картина на средневековой колокольне. Один из семи смертных грехов: «Женщина в блудливых объятиях Нечестивого».

Филипп постучал.

От звона стекла он словно пришел в себя и тотчас понял, что гораздо умнее было бы незаметно уйти. Но было поздно: Баллочанский подошел к окну и подчеркнуто любезно, предупредительно, пожалуй даже навязчиво пригласил его войти. Филипп обошел дом, рассеянно и нервно поговорил с черной Бобочкиной китайской собачкой у двери и вошел; обстановка за это время в комнате

мало изменилась: Бобочка продолжала лежать в постели и лишь накрылась одеялом. Ее шея была обвязана полотенцем. Около кровати на стуле стоял таз. У ног сидел дерматолог в черной шелковой пижаме с хмурым и неприступным видом и попыхивал сигаретой. Баллочанский как ни в чем не бывало мирно и хладнокровно читал газету.

Бобочка встретила Филиппа довольно холодно, сказав, что с такими друзьями, как он, можно умереть, так и не дождавшись никакого участия.

Филипп не знал, то ли он спит, то ли вся эта сумасшедшая сцена при свете сальной свечи плод его собственного больного воображения (но ведь людей, у которых бывают такие галлюцинации, держат в сумасшедшем доме!)… Пожав руку Бобочке, он почувствовал, что обливается горячим потом, как в бане. Пальцы стали до того влажными, что прилипли к полированному стулу, за который он взялся, чтобы переставить его от стола к постели. Суставы рук и колени судорожно подергивались, он был близок к обмороку и, если бы не сел, у него подогнулись бы колени.

А грек, или русский, или черт его знает кто, спокойно сидел у ног Бобочки, попыхивая сигаретой, и делился впечатлениями о своем прошлогоднем

путешествии в Сицилию, словно продолжал как раз с того места, на котором его прервал нежданный и со всех точек зрения неуместный визит.

— Море, в сущности, преогромная лужа, и что находят прекрасного в этой стихии, непонятно. Море — довольно большое количество (разумеется, в человеческих масштабах) кислорода и водорода, по которому плавают на каких-то дурацких посудинах и где за минеральную воду и порцию мяса платят гораздо дороже, чем в обычных трактирах на земле. Люди тянут через соломинки ананасовый сок, позвякивают серебром и фарфором, граммофон играет «Sonny-Boy», и на человеческом языке все это называется «морской стихией». Корыта эти обвешивают смешными разноцветными тряпками, и такие пестрыми тканями разукрашенные корабли имеют свои «морские привилегии», а все это происходит на довольно ограниченном пространстве разлившихся по грязному шару жидких газов.

В прошлом году Сергей Кириалес ехал на пароходе из Таормины в небольшой сицилийский городок, представлявший собой сейчас груду развалин. Рядом с ним на палубе стоял иезуит. Это был огромный, бронзовый, опаленный солнцем колосс (похожий больше на мясника, чем на

иезуита) с толстенными, набрякшими ручищами, требник казался в его громадных лапищах маленьким блокнотиком. Они стояли рядом, красная лента, вырвавшаяся из черного требника мускулистого иезуита, полоскалась на ветру, как маленький флажок. От тяжелой суконной сутаны исходил резкий запах пота. Вонючий мясник, расширив руки, дивился великой премудрости господа, создавшего такие стихии, как, например, это «величественное море». (Словно господь с его «великой мудростью» — шеф рекламы провинциальной конторы по обслуживанию туристов!) А потом, когда они хватили кьянти, и довольно изрядно, иезуит принялся рассказывать такие извозчичьи калабрийские анекдоты, словно читал Бальзака.

Всю осень Кириалес пробродил по Сицилии без всяких происшествий. Встретил лишь одного-единственного маленького белого козленка с белой гарибальдийской бородкой и красными, как у кролика, глазами и в одной литейной, где отливали колокола, бросил в котел с кипящей бронзой мальчишку.

— Дело было к вечеру. Старая, еще романская церковь стояла в тени каменоломни, обросшая вековым плющом и барвинком, с огромными

окнами, забранными массивными решетками. Внутри был прохладный полумрак, приятно пахло влажной глиной. Глиняная форма для колокола, покрытая воском, была готова, рядом в котле клокотала сернисто-зеленая масса расплавленной бронзы, и неистовые оранжево-розовые сполохи освещали старую церковь странным зеленовато-фосфорическим светом. Тут же стоял сын колокольника, девятилетний мальчик, необычайно застенчивый и нежный, с потными пальчиками, нервный и хрупкий, как девочка, и смотрел на котел. У отца вышел воск, и он сказал, что скоро придет. Я подошел к мальчику и завел с ним беседу о сокровенных тайнах. Взял его за руку и спросил, открыл ли он на последней исповеди Свою Тайну? У мальчугана потели руки, и он так симпатично, так мило лепетал, а таинственно-лживые отношения теплой детской плоти с богом были так тонки и эфемерны, что, казалось, держишь в руках шелковую бабочку, чувствуешь на ладони, как шевелится маленькая глупая гусеница, и не хочется расставаться с этими опушенными пыльцой мягкими крылышками. Долго я так мучился, пока вдруг не наступило какое-то непостижимо мрачное мгновение гадливости: я схватил малыша и бросил его в котел!

Вонючее облако пара поднялось над раскаленной бронзой, взлетело под темный свод церкви, точно мяч… Цикады под кипарисами, тихое осеннее предвечерье в Сицилии… Стрекот… Пустота…

Слушает Филипп вранье подлого чужестранца, смотрит на усталую женщину с обвязанным горлом. В натопленной комнатушке, как в пекле, за столом идиотик Баллочанский шелестит газетой. Как все это понимать? А если этот тип не врет, что тоже возможно. А то, что было на постели и все вокруг нее, разве не сумасшедший дом? Грек рекомендует взирать на дела людские с высоты тридцать пятого столетия. По меньшей мере тридцать пятого, а кто не в состоянии видеть на таком расстоянии, тот от рождения слеп. Что такое пятнадцать столетий? Ничтожное мгновенье, короче взмаха крылышка мухи! И вся эта возня на постелях, эта жалкая жизнь нашей плоти, все, что происходит между женщиной и мужчиной (и что вообще может между ними произойти!), все исчезает перед чувством, которое охватывает нас на кладбище.

— Когда мы стоим над чужими могилами, нам совершенно безразлично, что было между этими, теперь лежащими в земле мужчинами и женщинами. А если отойти на расстояние в пятнадцать

веков, то станет совершенно безразлично, кто кого бросал в кипящую бронзу и спала ли эта женщина с тем или с другим!

— Вы имеете в виду меня? — поднимаясь, запальчиво спросил Филипп.

— И вас, и себя, и каждого, мой дорогой! Не знаю, поверите ли вы мне, но я смотрю на вещи с высоты сорок пятого века. Даю вам честное слово! А сейчас я приготовлю вам кавказскую жженку, какую вы не пили никогда в жизни.

Филипп хотел было распрощаться и уйти, но его не отпустили, особенно настойчива была Боба.

— Нелюбезно с вашей стороны два дня пропадать, а теперь две минуты посидеть и тут же удирать!

Услыхав о кавказской жженке, Баллочанский отложил газеты, пришел в хорошее настроение и радостно, как собачонка, завертелся вокруг Кириалеса: резал лимон, лазил в старый разваливающийся шкаф и рылся там в измятых свертках и пакетах, носил из кухни бутылки, специи, оживленно сновал по комнате и все время напевал себе что-то под нос.

Филипп остался сидеть возле Бобы. Разговор не клеился. Он подошел к столу и взял в руки газеты, которые читал Баллочанский; газеты были

старые, многолетней давности, замызганные, сальные, исчерченные карандашом, с вытертыми и смазанными буквами.

«Что мог читать Баллочанский в этой истлевшей, замусоленной газете? Причем так долго и с таким интересом?»

В самом низу колонки в отделе хроники внутренней жизни были подчеркнуты красным карандашом несколько строк:

> *«Вчера вечером по распоряжению государственной прокуратуры арестован в своей квартире известный адвокат, доктор Владимир Баллочанский. Обвиняемый отправлен в камеру предварительного заключения по ходатайству высшей судебной инстанции на основании иска, представленного банками, в которых упомянутый доктор служил в качестве юрисконсульта. По делу начато следствие».*

«Лермонтовская» жженка, которую сварил дерматолог, в самом деле оказалась необыкновенно вкусной. Первую порцию выпили за несколько минут; принимаясь варить вторую, Кириалес заговорил о смерти. Голубоватое пламя горяще-

го спирта, казалось, лизало его смуглое лицо. В комнате было уже совсем темно, на стеклянной поверхности сосуда в неверном свете голубого огня отражались все вещи. Баллочанский тупо уставился в трепетные огненные змейки; голос грека, точно странная усталая птица, трепыхая крыльями, кружил над постелью Бобочки, над ее красным кимоно, по темным углам, вокруг пыльных коробок на шкафу и сеял черный мрак; становилось все темнее, все непроглядней, лишь, потрескивая, тускло мерцала свеча да время от времени у подбородка Кириалеса жаром рдела трубка.

Кириалес говорил о смерти и о том, как мертвецы мечтают вернуться на этот свет.

— Какие горячие, какие сильные, должно быть, эти мечты среди трухлявых досок и бумажных подушек! Как бы вернуться и начать все сначала? Эта навязчивая идея возникает в гниющих головах покойников, точно мыльный пузырь пьяного бреда, и катится над могилами прозрачным стеклянным шаром, наполненным зеленоватым светом, в котором клубится что-то таинственное, теплое и могучее, сладкое, как горячая жженка, манящее, как теплая постель, и приятное, как тело после купанья, — мерило жизни, капля того

жизненного эликсира, который наполняет теплом наши жилы. И все под землей так необычно. Вокруг гробов много стеклянного дыма; оледенев, он причудливыми линиями окружил мертвые предметы, и мысли здесь бьются, как пламя горящей жженки в стеклянной чаше: вот бы ощутить боль старой раны, снова начать двигаться, дышать, вернуться туда, откуда тебя вынесли, как восковую куклу, как именинный торт в лакированной коробке, украшенной кружевами. Жизнь разверзлась, будто зияющая рана, а как было бы сладостно вновь прикоснуться к этим ранам с запекшейся кровью! Только почему-то окоченели пальцы, точно от камфоры, пальцы холодные, и все кругом холодное, как лед, и прозрачное, как слюда, и пустое, как место, на котором болел вырванный зуб, которое сейчас вылизано языком и охлаждено кокаином, на котором была кровавая дыра и гнойная рана, а теперь их нет, только гнилой зуб, которого нет, и совершенно холодный, мраморный, чужой язык. Тут, на этом месте, был зуб, был отек, билась в жилах кровь, плакал от стыда незаконнорожденный ребенок, как сейчас плачут другие незаконнорожденные дети, и так все и движется по непостижимым амплитудам. Наивная девочка превращается в

блудницу; один убивает жену и зажигает у себя над головой крышу, другой не знает, чего хочет, и бродит бесцельно по свету, — вот так и тянется это субъективное существование; наступают туманные утра, подходят паровозы, надо умирать, а когда все успокоится и превратится в раздавленную груду гнилого тряпья на рельсах, мечтания начинаются снова, теперь уже в могилах, покойникам наверняка грезятся освещенные окна и теплые комнаты, и они думают о том, как приятно иметь зонт и галоши, когда идет дождь, и не иметь долгов!.. А вы когда-нибудь были на грани самоубийства?

Пьяный грек задал вопрос так внезапно, что Филипп растерялся, не зная, что ответить. Впрочем, Кириалес и не ждал ответа. Он был во власти собственных мыслей и, помешивая стеклянной ложкой горящий напиток, все глубже погружался в мрачные лабиринты безумия.

— В голове самоубийцы, когда он уходит туда, откуда нет возврата, кипят образы, воспоминания, желания, окружающие его в ту минуту, когда он решил броситься под поезд (примера ради, беру случай весьма вульгарного самоубийства под колесами локомотива): густой осенний туман, за мостом пыхтит и жалобно гудит задымлен-

ный паровоз, а внизу, под мостом, течет грязная вода… еще темно, утро только забрезжило… Теплый клубок жизненных сил, что носит человека по свету и заставляет участвовать в опасном всеобщем движении, клубок плоти, тепла, воспоминаний, инстинктов, красоты, страха — все это мозг вбирает в себя, как в раковину, и все это зияет, как открытая рана; в последние секунды, когда разверзается рана, грудь в последний раз вбирает воздух, а веки смежаются, в последние секунды жизни перед тем, как окончательно спустится занавес и будет сделан решающий шаг в небытие, в эти две-три последние секунды открываются просторы, такие же необъятные и такие же яркие, какой была жизнь человека, рвущего с жизнью. И этот разрыв, вероятно, все же очень болезненный. Кровавый! Возбуждение, бред, лихорадочный страх перед — все-таки! — неизвестностью, болезненная тоска по всему теплому, привычному, дорогому: дому, кушаньям, детству, — одним словом, по всему тому, что приятно тешило нервы и мозг, желудок и кожу, тело и кровь. А вместо всего этого — смерть: холодный наркоз, ледяной, точно компресс из камфоры, таинственный дымок над железной дорогой, паровозом и телефонными проводами, что гудят

на ветру. Пуповина разорвана, грязная холодная вода расступилась, и воцарился беспросветный, мирный, тоскливый мрак. Итак, прыжок под паровоз, — возврата нет, зажмуриваешь глаза, тело судорожно и неистово протестует, но неотвратимость последнего движения уже наложила свою печать, возбуждение падает, все становится холодным, безразличным, появляется усталость, и наконец остается одна-единственная мысль… О чем бы вы думали в последний миг жизни?

— Я бы думал о своей жене Биби, которая прыгнула с третьего этажа и разбилась насмерть! А на похоронах, шагая за ее гробом, я нюхал надушенный Бобочкиными духами платок и грезил о ее теле.

Голос Баллочанского необычайно взволновал Филиппа. Он напряженно размышлял, какова бы была его последняя мысль? И, ничего не придумав, спросил Кириалеса, о чем бы думал он?

— Я? Ни о чем! Совершенно в этом уверен! А если бы и думал, то лишь о том, что глупо было не проделать этого раньше, гораздо раньше!

— Да, конечно! Все это прекрасно и очень занятно, — снова заговорил Баллочанский громко и агрессивно. — Но кто даст мне удовлетворение?

— Какое удовлетворение? — спросил Кириалес,

налив стакан горячей жженки и выпив его до дна.

— Какое? Обычное удовлетворение!

Бобочка, которая все это время лежала неподвижно и безмолвно под своим одеялом, вдруг вскочила с такой порывистостью, что, казалось, ветхая кровать рухнет. Ее взгляд впился в Баллочанского.

Баллочанский встал, подошел к греку и сказал:

— Я требую удовлетворения!

— Какого еще удовлетворения? — спросил тот решительно и грубо.

Баллочанский подошел к Кириалесу с таким видом, словно хотел ему, а особенно Бобочке и Филиппу, объяснить что-то чрезвычайно важное: он поднял руку, задержал ее на какое-то мгновение в воздухе, но потом взмахнул ею так, будто все это ему надоело. Потянулся к шкафу, взял свой старинный инкрустированный слоновой костью молитвенник и вернулся на свое место — на диван, к свече. Раскрыл молитвенник на одной из заложенных иконкой страниц, глубоко вздохнул, набожно перекрестился и невнятно, совершенно подавленно пробормотал:

— «Nescimus horam neque diem»[65], — и углубился в молитвы, будто был в комнате совсем один.

* * *

К своей беспомощности в назревающей катастрофе Филипп относился с тревожным нетерпением безвольного человека, блуждающего в темных закоулках своей души, точно заваленный углем рудокоп, одержимо ищущий выхода. Филипп отлично понимал, что засиделся в Костаньевце, что хорошо бы отсюда поскорей уехать, и в то же время чувствовал, что у него нет сил разом все оборвать и уйти. Просто-напросто нанять подводу, ехать на капитульский вокзал и сесть там на первый же поезд! Филипп все отчетливее сознавал, что его задержка может оказаться роковой во всех смыслах; он, единственный из всех участников этой рискованной игры страстей, с самого начала видел катастрофичность каждого, даже самого незначительного шага. Никогда еще он не чувствовал себя таким усталым, слабым, таким глупо незащищенным, как в этом кипении плоти, страстей и нервов. Бобочка чрезвычайно волновала его, а неизвестность ее судьбы, еже-

[65] Примечания: 65
Не ведаем ни дня, ни часа *(лат.)*.

часная и ежеминутная боязнь за нее, постоянные подозрения, подавленность, присутствие таинственного грека, который еще больше возбуждал и усиливал его нездоровую мнительность, — все это безмерно волновало его и без того перевозбужденный мозг. А душа дала трещины, из них заструилось все болезненное: нездоровый зов плоти, взрыв чувственности, туман в голове, грезы и мечты об эгоистично-скотских усладах бурлили в нем и клокотали, как воспаленная дурная кровь. Вместе с грустной немощностью и волнениями плоти он испытывал тихую, но сильную неприязнь к Баллочанскому. Наблюдая за тем, как, сидя за столом, этот несчастный жадно, по-собачьи, вылизывает тарелки; как он говорит о единой своей утехе — «святом причастии», как, выражая свои мысли, пользуется одними банальностями, Филипп впадал в непонятное раздражение, полное животной ненависти. Он никогда не предполагал, что может хладнокровно думать о смерти ближнего, а теперь, думая о различных вариантах развязки, постоянно возвращался к мысли, что лучшим выходом была бы смерть Баллочанского. Единственное спасение для Бобочки, если этот идиот умрет или его посадят в сумасшедший дом! Филипп размышлял об

этом вполне трезво, вынашивал эту смерть, подстерегал ее, как хищник, вынюхивал холодным носом волка и чувствовал, что, будь у него клыки, он немедля впился бы Баллочанскому в горло. Такие мысли возникали, конечно, временами и тотчас улетучивались, а им на смену приходили бесконечные комбинации — беспомощное самообольщение и бесплодное кружение в полной безвыходности. Смятение души представлялось Филиппу необычайным и странным проявлением надвигающейся старости, но оно сопровождалось приливом творческих сил. За последние двадцать — тридцать дней он написал много полотен, сделал несколько сотен зарисовок, эскизов, акварелей — идеи били из него фонтаном. То, что творческая мощь вернулась к нему благодаря такому странному стечению обстоятельств, что бурление крови было продиктовано волнением плоти, что ясность видения усилилась тоже по причинам скорее всего физиологического свойства, Филиппу казалось абсолютно не важным. Не все ли равно, как и почему, главное, что после долгого периода подавленности и бесплодия он снова стал воспринимать жизнь творчески, перевоплощая виденное в бурную игру живых образов. Он много писал зеленые сумерки на

безлюдных лесных опушках с далекими цепями серовато-пепельных горных хребтов, блеклых, как старинные японские литографии семнадцатого столетия; создал целый цикл акварелей с виноградарями в медно-зеленых опанках, с трубками, горящими в вечернем полумраке, — бледные маски, освещенные тлеющим жаром, напоминали лица людей у могил с зажженными свечами. Свою мать, старого Лиепаха, толстую Каролину, скотника Мишку, Бобочку и Баллочанского Филипп написал за чаем в солнечном блеске дня, в беседке, у самовара; старая Регина и его светлость походили на двух смешных попугаев, толстая Каролина стояла в центре композиции, со вздутым животом и красными, как у мясника, руками, два эпилептика, глухонемой Мишка и полусумасшедший Баллочанский, щерились, точно две дьявольские личины, Бобочка, бледная, в черном шелковом платье, наливала ему, Филиппу, чай в розовую чашку. Себя он изобразил перед этим кругом с палитрой и сигаретой в руке. На зеленый плющ, обвивающий беседку, Филипп посадил столетнего ворона. Картину он писал жирными мазками, пастозно, она была перенасыщена цветом, рельефна, тяжела, чуточку, возможно, слишком скандинавская и не совсем

убедительная по замыслу (но не по фактуре), и тем не менее написана единым духом, словно мгновенно вылилась на полотно.

В последнее время все в его руках превращалось в картины, и он с каждым глотком воздуха ощущал, что растет, что вырвался из многолетней тоски и бесплодного сидения у серых от дождя окон к новой, возрожденной, яркой живописи. Пространства, затянутые серыми бельмами унылой немощи, пустые комнаты, полные табачного дыма и вони, северные, в пелене тумана, дали, — все это постепенно оставалось позади, и он, точно змея под весенним солнцем, менял кожу, освобождаясь от всего наносного, отжившего, шелушившегося, чувствуя, как заживают старые раны, как он выздоравливает, как под струпьями розовеет молодая, здоровая кожа.

С первого дня Бобочка и все ее окружение вызывали у Филиппа смутное чувство удивления и беспокойства. Даже прожив с этой женщиной несколько месяцев, Филипп не мог сказать, что она такое, что происходит с ней и вокруг нее? Поначалу все казалось простым и ясным: сорокалетняя женщина, видимо, довольно несчастная, потерпевшая жизненное крушение, ставшая кассиршей вонючего провинциального кафе и

содержащая своего разбитого параличом любовника, такого же несчастного, как и она, — то есть случай сам по себе тривиальный и неинтересный. А близорукий заика-паралитик, сошедший из-за этой женщины с размеренной колеи жизни и попавший в переплет, к которому ни в какой мере не был подготовлен, просто-напросто живой труп.

Сперва Филипп отнесся к ее окружению равнодушно, хотя и с некоторым подозрением; на начальной фазе знакомства, после первых банальных слов и взглядов, Филипп увидел, что ему ждать нечего. Да и что мог ждать от костаньевецкой кассирши человек с расшатанными нервами, с подорванной волей, с глубоким (по сути дела маниакальным) убеждением в бесцельности своего существования, с чрезмерно обостренным и надломленным интеллектом. Хорошо! Он приходит каждый вечер в кафе, садится у мраморного столика, на котором стоит касса (подле самого шкафчика с растрепанными лексиконами), читает «Daily Mail», пьет сливовицу и коньяк, выкуривает по сорок сигарет и следит за красными шарами, снующими по зеленому бильярдному сукну. Так проходят ночи. Бобочка за кассой звенит столовым серебром, отсчитывает куски

сахару, время от времени оборачивается к буфету, наливает ликеры и пунши и сдержанно улыбается его остротам. Возбужденный бессонной ночью, коньяком, разгоряченный присутствием женщины, у которой под черным шелком ему видится гибкое и необычайно стройное тело, Филипп пускает кольца дыма и остроумно рассказывает-о себе и своей жизни, а Бобочка молча улыбается. Бобочка настолько умна, чтоб не говорить глупостей, однако никаких других признаков интеллекта Филипп в ней не замечал; раза два-три по ее высказываниям можно было заключить об элементарных пробелах в ее образовании, но обычно кассирша весьма умело их скрывала. Филипп знал, что она окончила какие-то курсы в католических пансионах, говорила на многих языках, могла высказаться о некоторых вещах так, словно это суждение было ее собственное (что Верди, например, нисколько не слабее Вагнера, или, что Мунх больше лирик, чем художник), но шарм всему этому придавал ее надтреснутый альт, ее красивые седоватые волосы и по-девичьи ясные глаза, поблескивающие в дыму ярко-зеленым, теплым, люминесцирующим светом.

Подружившись с этой несчастной и сдержанной дамой, Филипп незаметно подпал под ее

влияние. Она не всегда была такой, как сейчас. Из массы фотографий, которыми она его заваливала и которые рассказывали о ее путешествиях, об обстановке ее квартир, о ее собаках, лошадях, автомобилях, было видно, что она не всегда служила кассиршей; в доме этой женщины были и ценные ковры, и книги, и бюсты, и картины, и тяжелые кованые клетки с тропическими птицами. Она каталась на яхте по греческим водам, любовалась закатами северного полуночного солнца, миллионы, в полном смысле этого слова, миллионы проходили между ее пальцев, и надо было обладать большой моральной силой внутреннего сопротивления, чтобы не сломиться под тяжким гнетом страшной действительности, обрушившейся на ее плечи.

Симпатия к этой женщине зародилась в Филиппе именно из-за ее сломленности и беспомощности. В самые интимные минуты Бобочка говорила о тщетности всякого сопротивления, признавалась в том, что понимает и видит, что докатилась до последней черты; и это ее состояние полного изнеможения в кровавой борьбе с непреодолимым и вызывало у Филиппа все возраставшее чувство симпатии. Однако и здесь с самого начала обнаруживались невероятнейшие

вещи. Как-то сразу после обеда, когда жара стояла собачья и в кафе никого не было, Филипп, войдя туда, увидел на коленях у Бобочки маленького пикколо. Мальчик якобы занозил руку, и она вытаскивала ее иглой; но не видно было ни иглы, ни занозы. Обняв голову подростка обеими руками, она так впилась губами в его губы, что даже не заметила, как вошел Филипп. А однажды Боба запоздала на свидание на раскорчеванной полянке, возле старого муравейника, где они впервые встретились после того нелепого ужина у Лиепаха. Пришла сконфуженная, перепачканная мокрой землей (всю ночь перед тем моросил дождик) и стала уверять Филиппа, будто зацепилась за перелаз на черном пару старшего дорожного мастера и упала, А позже в кругу Лиепаха ходили слухи (особенно распространяемые его матерью), будто эту женщину видели ночью на том же пару с новым лесничим.

А случай со старым Корнгольдом? Старый Корнгольд, крупный венский промышленник, огромный, астматический носорог весом в сто тридцать килограммов, владел четырнадцатью паровыми лесопилками и через год приезжал в свои костаньевецкие леса и останавливался в охотничьем домике, купленном тотчас же

после переворота в турчиновской епископской экономии. Вот таким образом он как-то ночью и очутился возле Бобочки.

Старый Корнгольд был якобы ее довоенным знакомым еще радаевских и будапештских времен (а впоследствии ее первый супруг, министр, поддерживал с ним деловые отношения), и в те ночи шампанское лилось рекой. Однажды в субботу он пригласил Филиппа и Бобочку поужинать в своем охотничьем домике, в Турчиновском лесу.

В пасти Корнгольда исчезали куски рыбы и заливного под майонезом, как в пасти голодного нильского бегемота; красный как рак, потный, в шелковой рубахе, он тяжело, точно огромное подводное млекопитающее, с хрипом втягивал в себя воздух, отрезал толстые ломти мяса, дробил лед, пил вино, курил, плевал и довольно остроумно рассказывал о чревоугодии и чревонеистовстве. О том, что это его сорок третья сигарета, что фарингит мучает его уже семнадцатый год, а господа отоларингологи с блестящими зеркалами на лбу промывают ему горло ляписом и еще какими-то вонючими жидкостями, но ничего у них не получается ни с ним, ни с множеством других людей, которые курят и по пятьдесят си-

гарет в день. А горло, конечно, от табака жжет, и во рту горечь и вонь, отвратительная вонь, и это неприятно и мерзостно со всех точек зрения. И с какой, собственно, стати эта трава дымится у тебя под носом, никто толком ответить не может, как, впрочем, и на многие другие вопросы. Вот, скажем, эта спаржа, форель, черный кофе, коньяк, зубочистки и прочее, что в наших глазах составляет комфорт городской жизни, с мылом, зубными врачами, моторами, автомобилями и скучнейшими заседаниями за обтянутыми зеленым сукном столами директорских советов в кабинетах, где обычно висят наимоднейшие глупости в качестве открытий живописи, — ведь все это находится в полном беспорядке, хаотически загромождая наш быт.

— Ich mag die moderne Kunst nicht, das alles zusammen ist Dreck und Blödsinn! Sie sind auch ein moderner Maler, was? Haben Sie welche Bilder zu verkaufen, ich kauf Sie Ihnen ab! Schreiben Sie mir, bitte nur, die Ware, die Sie mir verkaufen, brauch ich nicht einmal zu sehen! Zwei Tausend Schilling? Ja?

Einverstanden? Abgemacht![66]

Покуривая сорок третью сигарету, старый, толстый, с жирной шеей Корнгольд грыз зубочистку и рассуждал о своих жировых отложениях, о неправильном обмене, о спарже, мясе, рыбе, о своих делах по лесоповалу и о том, как трудно понять, почему он никак не может отказаться от привычки грызть зубочистки, эти никчемные деревяшки, когда так называемые воспитанные люди говорят, что ковырять в зубах неприлично, а его жена из-за этих проклятых зубочисток выпила из него уже несколько литров крови. А между тем зубочистка вовсе не такая невинная вещь, как кажется! Зубочистка завоевала огромный рынок. Нет ни одного бара, трактира, вагона-ресторана, где бы не было этих безголовых спичек, трудно поверить, сколько миллионов скрыто в этих на вид ничтожных деревяшках! В Канаде и в Финляндии созданы целые отрасли промышленности, лесопильные заводы ежедневно перерабатывают тысячи тонн пахучего дерева; производство идет полным ходом, и акции этих

---

[66] Примечания: 66

Не люблю я современную живопись, вся она, вместе взятая, бессмыслица и дерьмо! Вы тоже художник-модернист, неправда ли? Может, у вас есть на продажу какие-нибудь картины? Я куплю! Только, пожалуйста, напишите, товар я могу и не смотреть! Две тысячи шиллингов? Идет? Значит, договорились! Решено! *(нем.)*

предприятий приобрести довольно трудно, поскольку при теперешних обстоятельствах дело считается весьма солидным. В Европе много людей с испорченными зубами, и она покупает этот товар значительно больше, чем Америка, где производство зубочисток снизилось на сорок семь процентов с того времени, как в народных школах ввели обязательное и бесплатное лечение зубов. Когда у нас национализировали промышленность, он, «господин Генеральный директор Корнгольд», приложил много стараний, чтобы национализировать производство зубочисток («как раз с супругом уважаемой госпожи Радаевой мы и трудились на этом поприще»), и хотя перспективы хорошие («у нас не лечат зубов в народных школах»), пока похвалиться нечем.

В данный момент туго с капиталовложениями. Наши люди, к сожалению, как истые варвары, в массе своей ковыряют в зубах спичками.

Филипп слушал это извержение пошлостей и сальностей и нервно, машинально грыз зубочистку. Зубочистка пахла ментолом, а сквозь острый вкус ментола в деснах между зубами чувствовалась горечь смолы, она заливала рот и мозг, словно вдруг повеяло с дальнего синего горизонта острым горным запахом сосен. Почувствовав

горький вкус ели, Филипп глубоко вздохнул и осушил полный бокал густого корнгольдовского вина, забыв, что это уже двенадцатый или пятнадцатый по счету, что сидит он с каким-то варваром-культуртрегером, носорогом и что уже пьян. Совершенно пьян, и все плывет неровными кругами: и Бобочка, и этот отвратительный парвеню!

Как себя ведет этот бурдюк с женщиной? Гладит ей руку выше локтя, потом его толстые пальцы скользят к плечу, он придвигает свой тяжелый стул вплотную к ней, и она играет носком своей туфли с салфеткой, лежащей на его старческих коленях. Что все это значит? Пьяный бред? Сумасшедший дом? Бордель? А старик охает-ахает, что приходит, дескать, конец, что врачи обнаружили у него сахар, почки не работают как следует, белок! Вокруг этого старого нильского бегемота ходят врачи в своих таинственных бурнусах (которые выглядят старомодными ночными рубахами), осматривают этому стотридцатикилограммовому идиоту горло, исследуют желудок, почки, мочевой пузырь, кипятят в пробирках мочу, нюхают ее, проверяют, есть ли в ней сахар, сверлят ему зубы, измеряют давление, а он пьяно, по-дурацки разглагольствуя обо всех этих

вонючих интимностях, бесстыдно поглаживает Бобочку по плечу и касается своими коленями ее бедра. Старый астматический бурдюк, кишка с испорченным пищеварением, астматическое косматое животное сидит в парах черного кофе и табачного дыма, страшный и огромный, как горилла, а Боба звонко, как девочка, хохочет, щупает у него пульс на висках и зовет его герр генерал-директор! Они вспоминают совместные экскурсии на доломитовые глетчеры, когда этот носорог еще ездил на велосипеде, а это было еще до того, как она проходила в Париже курс парафинотерапии, когда думали, что Боба беременна и родит своему супругу, господину министру, сына, однако пресловутая парижская парафинотерапия лишь убила единственный земной идеал министра.

Почувствовав, что его начинает тошнить, Филипп удалился. Его комната была на третьем этаже под крышей деревянного дома, построенного в швейцарском стиле — с разноцветными стеклами и оленьими рогами. Промучавшись всю ночь, он наконец под утро заснул, но тут же его разбудил смех. Смеялась Боба. Комната герр генерал-директора была на втором этаже под комнатой Филиппа, и Бобин голос доносился с

его балкона. Светало.

«Черт побери, где же это Боба смеется?» Под ним, на балконе, на деревянных перилах сидела в пижаме Боба, курила и смеялась, а герр генерал-директор, закатив штанину, гладил ей голую ногу.

Когда в то же утро они возвращались через лес, между ними произошла сцена. Она вызывающе хохотала над Филиппом, уверяя, что он сумасшедший, что все это ему приснилось и что герр генерал-директор годится ей в отцы! В пылу гнева, еще не протрезвившись, Филипп ударил ее с такой силой по лицу, что потекла кровь. Все затем кончилось на мокрой траве. Лежа в его объятиях, теплая, как собака, Боба, наматывая на свой указательный палец волосы Филиппа, необычайно ласково промолвила:

— Мужчины очень глупы, они не понимают, что для женщины величайшее наслаждение, когда ее бьют.

Случалось тут, значит, уже кое-что и до приезда грека, но все же фантастическая сцена времен средневековой готики, разыгравшаяся на Бобочкиной постели на глазах Баллочанского, читающего газеты при слабом свете сальной свечи, врезалась в память Филиппа навсегда.

После того как они перепились этой кавказской «лермонтовской» жженкой, Филипп в кафе больше не появлялся. Прошло три дня, Боба тоже не давала о себе знать. Впрочем, и после пьяной ночи у Корнгольда они тоже не встречались почти целую неделю; Бобочка тогда уехала в город и вернулась с целым ворохом покупок: с великолепной английской теннисной ракеткой, с маленькой черной китайской собачкой, несколькими литрами одеколона и настоящего бенедектина; Баллочанскому она привезла шелковые рубахи и галстук, а Филиппу — жестяной ящик с превосходными голландскими красками.

Он с отвращением швырнул эти краски ей под ноги, был груб, дико кричал и высказал ей в лицо все, что о ней думает, а Боба, пожав плечами, спокойно собрала с пола разбросанные тюбики и сдержанно заметила, что с «такими странными и непоследовательными людьми очень трудно дружить».

И она права. Во всем этом переплете Боба совершенно не виновата и вообще с ее стороны нет никакой вины; а он действительно «странный и непоследовательный человек». И если кто-либо и проявляет непоследовательность, так это исключительно он. И почему его волнует этот

грек? Разве Баллочанский играет другую роль? Что вообще за люди возле этой взбесившейся самки? Грек с Кавказа, по матери — из Смирны, по отцу — из Киева, рижский газетчик, забредший в паннонские дебри. У него черная пижама, и он варит жженку, подобную той, которую пил Лермонтов влюбленным юношей в Тифлисе. Бобочка — венгерка, паннонка, междумурка со смешанной швабско-фурланской и южношти-рийской мелкопоместной дворянской кровью, и она даже не знает хорватского языка. А сам он? По отцу — неизвестно кто, Валенти же из Вероны попали в Краков, заключали браки в Вильне с литовскими девушками: его законный отец, камердинер Филипп, родился в Ждале от матери, венгерки из Стольного Биограда. Литовцы, украинцы, веронцы, паннонцы, венгры, кто знает, из каких краев, из каких неведомых туманных далей прибыли в задунайские болота эти люди, с кровью, клокочущей в жилах, заставляющей их суетиться и ползать, не видя перед собой никаких горизонтов. И как тут во всей этой кутерьме и неразберихе быть последовательным? Прав был отвратительный грек, когда однажды ночью доказывал, что «национальность — мещанский предрассудок»! А он, Филипп, вопреки своему

собственному тайному убеждению, утверждал, что национальность — явление субъективного и метафизического порядка, «продукт духа»! В последнее время он вообще слишком много значения придавал туманному спиритуализму. Виноваты последние бесплодные годы, тяжелые, мрачные годы, проведенные в чтении разных глупых книг. Грек засыпал его именами (начитан или лжет, что начитан, но лжет ловко), и он совершенно прав! Нет и не может быть последовательности в поступках и развитии отдельных лиц, что же тогда говорить о таком огромном коллективе, как народ. Этот тип выложил целый перечень литературы по краниометрии, утверждающей, что понятие «народ» чистая фантасмагория. «В наших головах вообще нет ничего, кроме фантасмагорий. Мораль тоже одна из таких фантасмагорий».

«С такими странными и непоследовательными людьми трудно дружить», — сказала ему Бобочка. И в тот момент она наверняка была выше его на целую голову. Он ее кровно обидел, а она собрала тюбики и, конечно, оказалась выше его мещанских предрассудков. И то, что он три дня после сцены с греком не шел в кафе, тоже с его, Филиппа, стороны «странно и непоследовательно»!

Чего ему нужно во всей этой истории? И вообще, задавал ли он себе когда-нибудь конкретный вопрос: что он хочет от Бобочки? И не сам ли он, Филипп Латинович, принижает ее до блудницы?

* * *

Неподалеку от Турчинова, там, где Блатня протекает под железнодорожным мостом, однажды утром пастухи нашли труп. Он был так изуродован и окровавлен, что никто не мог его опознать. Бумаг при покойнике не было, только на внутренней стороне черной фетровой шляпы стояла марка лондонской фирмы «Metropolis Ltd». Покуда слух о несчастье на железной дороге у Турчинова достиг Костаньевца, прошло три дня, и, когда Бобочка прибыла на место происшествия, неизвестного уже похоронили. Трубку, шляпу, гавелок и галстук, оставшиеся от покойного, она опознала: эти вещи принадлежали Сергею Кирилловичу Кириалесу. Бобочка попросила разрыть могилу. Работа оказалась мучительной, последние три дня беспрестанно лил дождь, и копать мокрую глину было очень трудно. Бобочка стояла над могилой под дождем до самого полудня, а могильщик, безбородый, безусый юнец с необычайно красивыми вьющимися белоку-

рыми волосами (глаза у него были влажные и излучали тепло), смотрел на нее с благоговением, как на икону. Он дал ей выпить горячей похлебки из синей эмалированной кастрюли с крышкой такого же цвета; кастрюля была жирная, немытая, пахла парным молоком и слегка отдавала дымом. Когда молодой гробовщик пил после нее, было слышно, как его зубы выбивали дробь на эмали кастрюли.

Грязный гроб, кровавые тряпки — зрелище жуткое! Так и есть! Из желтой глины, из-под тонкой сломанной сосновой доски виднелась рука Кириалеса и манжета голубой шелковой рубашки Баллочанского. Эту рубаху Бобочка купила Баллочанскому летом на деньги Корнгольда, а Кириалес, оставляя у нее свои вещи на несколько дней, пока он не вернется, надел эту рубаху в утро отъезда.

Сообщив властям сведения о личности доктора философии и общей медицины, бывшего экстраординарного профессора Константинопольского университета С. К. Кириалеса, именем которого международная наука окрестила на вечные времена гистологический разрез волоса, Бобочка вернулась в Костаньевец, измученная скрупулезным и педантичным допросом при составлении

протокола, промокшая до нитки и смертельно усталая…

Бобочка постучалась к Филиппу. Это было время их обычных свиданий в комнате под кровлей его матери. В последнее время, с тех пор как в лесу стало мокро, они больше не встречались на полянке или у старого бука, под которым укрылись от грозы в ту бурную ночь, когда возвращались с праздника святого Роха («Suche die Buche, weiche die Eiche!»).

Попросив у Филиппа извинения за то, что мешает ему и докучает своими бедами, она сказала, что хочет обратиться к нему с просьбой. Она решила уехать, самое позднее сегодня вечером, и ей нужны деньги на билет до Гамбурга.

Рассказ о смерти грека на железной дороге и о том, как откапывали могилу, потряс Филиппа, у него сдавило горло, отнялось дыхание, и он услышал, как бьется сердце и как пульсирует кровь под коленями и в локтях. Схватившись за голову, чуть не теряя сознание и дрожа, как в лихорадке, он сказал, что таких денег при себе у него нет, но он может завтра утром поехать с ней в город, проводить ее и, разумеется, предоставить в ее распоряжение все, что у него есть.

Бледная как мел, Боба хладнокровно и реши-

тельно отклонила его предложение:

— Спасибо за любезность, но я поеду одна. Я не нуждаюсь в сопровождающих. Деньги же нужны сегодня, и самое позднее в семь!

Казначей муниципалитета (товарищ Филиппа по епископскому сиротскому дому) в последнее время вел его финансовые дела, был знаком с его денежными обстоятельствами, и Филипп пользовался у него неограниченным кредитом. Поэтому Филипп предложил такой вариант: он сходит к своему приятелю и принесет ей все, что сможет раздобыть.

Бобочка отклонила и это.

Ей не хочется его утруждать. Сейчас она идет в кафе и пробудет там до семи, а в семь сама придет сюда за деньгами. На том и расстались.

Казначея, конечно, на месте не оказалось. Он, как сказали Филиппу, уехал по делам муниципалитета и вернется поздно ночью. Связи Филиппа с жителями Костаньевца были слабые, он почти никого не знал. Мысль занять деньги у матери он тотчас отбросил из принципиальных соображений, и, таким образом, остался лишь землемер. В кассе землемера нашлось всего девять тысяч, из них четыре следовало немедленно внести на депозит казны.

Взяв у землемера пять тысяч, Филипп вернулся домой, добавил две, что были у него, сложил деньги в конверт и, как тигр в клетке, забегал от шкафа к овальному столику и обратно. Закопченные потолочные балки, большая позолоченная керосиновая лампа над столом и этот глупый Елачич напротив, в другой комнате, где стояла голубая плисовая гостиная, нестерпимо раздражали, хотелось все бить и крушить. А время недвижимо стояло на месте, спускались ранние сумерки. Старая Регина, сидя внизу в своей комнате, по шагам сына поняла, что случилось неладное. От его шагов поскрипывала вся деревянная надстройка, гул разносился по всему дому, подрагивала висячая лампа, с иконы Пречистой девы свалилась даже оливковая ветвь, оставшаяся от вербного воскресенья, и лампадка качалась, и штукатурка лупилась на деревянных досках потолка, и пыль сыпалась, а сын на мансарде ходил и ходил как заведенный. Сидит старуха в кресле, притаилась от страха, нет сил подняться по деревянной лестнице и спросить, что с ним такое. А Филипп бегает, опустив голову, от шкафа к столу и от стола к шкафу, и смотрит вот уже тридцатый раз на часы, а стрелки точно остановились и не трогаются с места, — все еще четверть седьмого. Уже

и Мишко вернулся с пастбища, и Каролина заперла кур в курятнике, и долго-долго таскали воду из колодца; он сел в кресло и, спрятав голову в ладони, просидел так целую вечность, а было все еще четверть седьмого, и ни минутой больше.

Закрыв ладонями лицо, Филипп крепко зажмурился и погрузился в безысходный мрак с зелеными и красными кругами, и в этой кромешной тьме, где не было ничего, кроме голубых языков горящей жженки, прыгающих по кромке стеклянной посудины, вдруг раздался голос Кириалеса, грек заговорил о том, что в последнее мгновение жизни, прыгая под паровоз, он бы ни о чем не думал! А если бы и думал, то наверняка лишь о том, что глупо было не проделать этого раньше, гораздо раньше!

А ведь утро было как раз пасмурное, дождливое, старый закопченный паровоз на затянутой туманом железнодорожной линии, телефонные провода пели на ветру!.. Боба уезжает сегодня вечером… там на плисовой скатерти в синем конверте лежат семь тысяч… Уже вернулись с пастбища коровы, и куры уже спят, а прошла всего лишь одна минута.

Филиппу хотелось ослепнуть, оглохнуть, превратиться в глухонемой безвоздушный мрак;

здесь так темно, так душно, так тесно, точно в какой коробке, и все обвешено идиотскими картинами, висячими лампами, потолки низкие — того и гляди, головой прошибешь; нет воздуха, нечем дышать, удары сердца отдаются в висках, и все невыносимо и герметически закупорено.

Филипп встал, подошел к маленькому квадратному окну и распахнул его настежь. Сеял тихий, осенний дождь, вода стекала по обросшим мохом дранкам, как по старому облезлому меху, стекла покрылись изморосью — на дворе плакала серая печальная осень. По вязкой дорожной слякоти, точно тень, тащился в старой австрийской офицерской шинели нищий. Через плечо переброшена гармоника, на шее полотняная сума для подаяний. Тыкая посохом в лужи, он шлепал босиком по грязи и принюхивался, точно пес, к запаху теплого дыма, и прислушивался к голосам людей под теплыми кровлями. Долго и тупо смотрел Филипп вслед слепому старику, влажный воздух приятно холодил его воспаленные бронхи, и он глотал этот дождливый сумрак, чувствуя, как вода стекает по затылку на шею и освежает его, точно холодный душ.

На деревянной лестнице раздались шаги. Это,

наверное, Мишко несет ему какую-нибудь старую свирель или стекляшку. Он дал этому глухонемому пастуху деньги, когда тот принес ему бронзовую Европу, и теперь Мишко считает, что всякая старая вещь — антикварная ценность.

Постучали в маленькую одностворчатую дверь.

«Странно! Двадцать две минуты седьмого, прошло семь минут! Это не Боба, шаги слишком тяжелые, а Мишко никогда не стучит».

Филипп подошел к двери и в нервном нетерпении отворил ее.

На темной, обшитой досками лестничной клетке стоял человек в черном, в котелке; в темноте нельзя было разобрать, кто это.

— Прошу вас, что вам угодно?

— Здравствуйте, нижайший поклон! Простите, если помешал! Пришел вас навестить! Вас уже три дня не видно в кафе, и мы подумали, уж не больны ли вы?

Это был Баллочанский. Близорукий, с мокрыми от дождя усищами, без очков, беззубый, он, точно слепой, споткнулся о порог. С головы слетел котелок и покатился в полумраке по комнате.

Получилось неловко.

— Здравствуйте! Пожалуйте! Вы нисколько мне

не помешали! Милости прошу!

Филипп зажег свечу. Не снимая пальто, Баллочанский сел на стул и оглядел маленькую низкую комнатку со старыми закопченными потолочными балками: он никогда еще не заходил к Филиппу.

— Как здесь мило и уютно! Давненько не бывал я в такой уютной комнате.

— Да так, по старинке! Обычный мещанский уют! Прошу, закуривайте!

— Спасибо!

Закурили. Заклубился вокруг свечи дым. Тишина. На столе мокрый котелок Баллочанского и часы Филиппа; стук механизма громко, с металлическим звоном, отдается от полированного стола. И минуты вдруг полетели с невероятной быстротой: вот уже двадцать восемь минут седьмого!

На столе у свечи бронзовое изображение Европы на бешено скачущем быке. Баллочанский взял в руки миниатюру и, наклонившись к свету, поднес ее к самому носу: казалось, он нюхал маленькую Европу, как пес. Выглядел он измученным и был совсем серый.

— Хорошая вещица! Оригинальная. У нас в гимназии в коридорах перед классами стояли

гипсовые античные статуи. На одной из консолей стоял Сципион Африканский. Больше всего мне нравился этот Сципион Африканский. У него была физиономия отпетого разбойника! Потом мне пришлось сталкиваться в своей адвокатской практике с подобными разбойниками (а позже с этими господами я хлебал подгорелую баланду), и ни разу я не встретил более совершенной модели черепа преступника, чем у Сципиона Африканского! Один человек вырезает целые народы и становится примером для гимназистов, а другой убивает одного человека и отправляется на виселицу. Прелестные законы! Знаете, господин профессор, всем нам, гуманистам, Рим казался идеалом! Тот самый Рим, который создавал такие прекрасные вещицы, как эта маленькая Европа! Но кому пришлось на собственной шкуре испытать варварскую, инквизиторскую, идиотскую и подлую суть этих римских законов, тот уже терял всякое уважение к таким культурно-историческим безделушкам! Рим был не таким, Рим был таким!

Говоря первую часть своей фразы: «Рим был не таким», Баллочанский указал на маленькую Европу, которую держал на ладони, потом, поставив ее снова на стол, принялся тыкать указательным

пальцем левой руки в свое мокрое пальто.

— Вот таким был Рим, как я нынче: раздавленная и заплеванная груда мяса! Я наблюдал цезаристов, этих наших патрициев, и сам ел за их столом! Сколько людей, подобных мне, должны были превратиться в то, чем я стал сегодня, чтобы такой Сципион Африканский мог оставаться на своем постаменте! Дорогой мой сударь! Die Kunst ist schön, aber das Leben ist ernst![67]

Филипп всматривался в тупое лицо наркомана, следил, как дрожат его длинные пальцы с синеватыми грязными ногтями на краю пепельницы, как нервно стряхивают пепел, как пощипывают ворс вытертого шелка на драном воротнике истрепанного и засаленного пальто, и не понимал, что, собственно, Баллочанский хочет сказать этим своим Сципионом Африканским и зачем он пришел к нему, и именно сейчас, когда стрелка часов так стремительно движется и, перевалив за половину седьмого, уже приближается к без четверти семь.

Филипп заговорил о старых, давно погребенных временах Паннонии, когда по мощеным дорогам этого болотистого края мчалась рим-

---

[67] Примечания: 67
Искусство прекрасно, но жизнь серьезна! *(нем.)*

ская почта, а римляне добирались на теплые паннонские воды за четыре дня. И если сегодня произойдет катастрофа, и сгинут все эти наши ниточки телефонных проводов и картонные папки кадастровых книг, и кто-то в далеком историческом будущем примется за раскопки этого болота, то единственная непреходящая ценность, которая попадет в руки грядущих поколений, будут эти самые римские дороги да вот такие миниатюры — бронзовые Европы, разные безделушки, урны, глиняные сосуды и прочая утварь. Вся наша цивилизация, измеренная подобной эстетической мерой, не стоит ни гроша в сравнении с римскими произведениями искусства!

Слова Филиппа не вызвали у Баллочанского ни малейшего интереса. Он пришел сюда прямо из кафе, очень возбужденный, чтобы поговорить начистоту, и сейчас сидит, сосредоточившись на главной цели своего прихода, а этот человек своими россказнями о том, «что попадет в руки грядущих поколений», по всему видно, хочет выпроводить его за дверь.

— Речь сейчас идет не о том, что попадет в руки грядущих поколений, господин профессор, а…

Начал он резко, точно топором отрубил, а потом вдруг почувствовал, что не в силах закончить

фразу и запнулся на полуслове.

Филипп посмотрел на него с деланно сдержанным удивлением.

Потом наступило долгое молчание, было слышно только, как быстро и громко тикают часы на полированном столе.

— Вы хотели что-то сказать, господин доктор?

— Да, я хотел сказать: это касается прежде всего меня! Я пришел просить вас об одном одолжении.

— Пожалуйста!

— Я пришел просить вас оказать одну услугу лично мне!

— Пожалуйста, если это зависит от меня, с удовольствием, господин доктор!

— Собственно, как вам сказать? Речь идет о Бобе!

— Господин доктор, пожалуйста…

— Дело вот в чем: есть в жизни обстоятельства, когда мужчина…

Баллочанский снова умолк. Избегая смотреть на Филиппа, он уставился в оранжевый диск вокруг горящей светло-зеленым огнем свечи, которая фейерверком разбрызгивала красные отсветы. Этот обруч света приковал его внимание; Баллочанский знал, что ему надо говорить о том,

от чего зависит его судьба, а этот огонек, такой обособленный, от всего оторванный, с треском сгорал, играя в капле растопленного жира, живой как ртуть. Пауза длилась довольно долго, потом, словно пробудившись и увидев неожиданно открывшиеся горизонты, Баллочанский очень тихо, почти доверительно сказал:

— Я знаю все, что происходит между вами и Бобой!

— Простите, но то, что происходит между мной и госпожой Радаевой, происходит между нами! И вас не касается! Вы ведь собирались говорить о себе.

— Да, конечно, нам с Бобой необходимо разрешить один вопрос, касающийся лично меня.

— Так и разрешайте его между собой, если считаете нужным! Меня это не интересует!

— Да? Это вас не интересует? Хорошо! Тогда хорошо! Так вот, я пришел вам сказать, что ни в коем случае не позволю выбросить себя за борт!

— Какой борт? Кто кого хочет выбросить за борт? Что за химеры?

— Господин профессор! Боба решила сегодня вечером меня оставить! Она хочет бросить меня и бежать!

— Да вы, извините, бредите!

Баллочанский едва заметно улыбнулся, дрогнули лишь уголки губ, потом он стал приглаживать всей пятерней левой руки усы. До чего все глупо! Он был в кафе, когда землемер объявил во всеуслышание, что недавно приходил к нему сын Регины и занял пять тысяч динаров. Эти деньги лежат тут, на столе, в конверте, а то, что сказала Боба, будто ей нужно уехать в город на два дня по делам наследства русского авантюриста, ложь! Она вообще не собирается возвращаться! А этот тип врет, уверяя его, что это химеры и бред!

— Господин профессор, позвольте вам сказать, что это вовсе не химеры, а сущая правда! И я пришел просить вас растолковать Бобе, дабы она приняла к сведению, что я ни при каких условиях не позволю выбросить себя за борт! Так ей и скажите, что это вовсе не химеры! Из-за этой женщины я обесчестил свое имя, из-за нее оставил своих детей на улице, из-за нее сидел в тюрьме.

— Простите меня, господин доктор, но несмотря на все уважение, которое я питаю к вашему несчастью, все же полагаю, что вы не были ребенком, и знали, на что шли…

— Оставьте, сейчас это не имеет значения! Кстати, прошу вас тоже принять к сведению, что и я наконец решил сказать в этой игре свое слово!

— В какой игре?

— В какой игре? Смешной вопрос! Неужели вы полагаете, что я стал тем, каким вы меня сегодня видите, что я заставил свою жену выброситься из окна и, как идиот, загубил себя для того, чтобы сегодня вечером или завтра отправиться по грязной дороге, как тот нищий с гармошкой, что недавно здесь прошел? Но ведь я не умею даже того, что умеет тот нищий: играть на гармонике! И меня, такого, каков я есть, выгнать на улицу, разве это по-человечески? По-христиански? И сейчас, когда я пришел к вам в первый раз с тех пор, как мы познакомились, чтобы попросить оказать мне услугу, вы врете мне в глаза. Разве это по-человечески?

— Простите, но…

— Ах, оставьте! После всего этого борделя я еще буду выбирать выражения? Сегодня вечером вы заняли у землемера пять тысяч, и деньги лежат в этом конверте!

Испуганно, точно ему грозила смертельная опасность, Баллочанский встал и, словно осененный высшим наитием, постучал указательным пальцем левой руки по лежавшему у подсвечника конверту с деньгами.

— Какие же это химеры? Все именно так! Бо-

ба уезжает в Гамбург! Там живет какая-то ее подруга, которая содержит так называемый bridge-room![68] И я пришел просить вас растолковать Бобе…

— Я думаю, господин доктор, что после всего сказанного нам с вами не о чем говорить. Я вовсе не намереваюсь пускаться в объяснения ни с вами, ни с госпожой Радаевой. Извольте…

Филипп встал и пошел к двери. После долгой паузы Баллочанский взял со стола свой котелок и совершенно непринужденно, без тени смущения, словно сбросил с души тяжелый груз, учтиво поклонился и сказал:

— Прошу покорно! Я изложил вам свою позицию: я решил вступить в игру. Старый закон физики: всякому действию есть всегда равное и противоположно направленное противодействие! Я прошу вас предупредить Бобу, что в ее интересах…

В это мгновение раздался очень тихий стук в дверь. Филипп, который уже держал руку на щеколде, отворил ее. Это была Боба.

Воцарилось неловкое, нерешительное молчание. Дверь медленно затворилась. Слышно было,

---

[68] Примечания: 68
Игорный дом *(англ.)*.

как стекает с зонтика вода. На улице лил дождь. Окидывая тревожным взглядом фигуры двух мужчин в низкой комнате, Боба переминалась с ноги на ногу. Молчание тянулось довольно долго. На первом этаже, под крутой лестницей, отворилась дверь. Кто-то поднялся по шатким ступеням к двери Филиппа, повесил на гвоздь лампу и, так же громко топая, спустился обратно. Баллочанский вертел в руках свой котелок, потом взмахнул им, точно черпаком, и указал Бобочке на дверь:

— Пожалуйста, пойдем!

— Я не пойду!

— Но этот человек меня выгоняет! Пойдем!

— Иди! Я сейчас приду.

— Пойдем вместе! Тебе тут нечего делать. Этот человек меня оскорбил, идем…

— Я не пойду!

— Не пойдешь?

— Нет, не пойду! И не приставай! Подожди меня минутку внизу…

— Никаких минуток, ты слышала? Сию же секунду…

— Нет…

— Не пойдешь?

Эти два слова Баллочанский проревел с такой

силой, что зазвенели стекла. Крик смертельно раненного человека внезапно разорвал тишину, точно резкий выстрел картечью.

Внизу, на первом этаже, отворилась дверь. Кто-то спешил к Регине, громко звавшей Каролину. Филипп стоял, опершись правой рукой на крышку стола, и не знал, что делать? Вытолкнуть сумасшедшего за порог и спустить с лестницы — невозможно, получится скандал. Ведь все обитатели этого проклятого дома сейчас прислушиваются, что происходит наверху, а сквозь трухлявые доски слышно каждое слово. К тому же и старый Лиепах сидит внизу. Вступать в препирательство с невменяемым бесполезно! Он встретился с напряженным взглядом Бобы.

Она стояла неподвижно, закусив до крови нижнюю губу, поникшая, павшая духом, беспомощная. Сейчас ничего нельзя было сделать. Выпрямившись и вскинув голову, она подошла к Баллочанскому и решительно сказала:

— Хорошо, пойдем! — потом повернулась к Филиппу, махнула ему рукой и сказала, что вернется еще до ужина.

— Если нет, то встретимся в кафе, как обычно!

И, взяв Баллочанского под руку, скрылась с ним за дверью.

Филипп слушал, как они спускаются по деревянным ступенькам все ниже и ниже. Потом наступила тишина. Слышно было лишь, как барабанят по стеклу дождевые капли. Филипп дотащился до дивана и рухнул на него, ощутив приятный холодок полотняной наволочки на щеке. Он ничего не соображал и чувствовал, что добит окончательно.

* * *

Долго барабанил по стеклам дождь, потрескивала свеча, тикали часы на полированной крышке стола, и когда Филипп вдруг очнулся от полусна, ему показалось, что уже светает. Он встал и подошел к столу. Три минуты восьмого.

«До ужина» — это, значит, самое позднее в восемь! «Если нет, то встретимся в кафе, как обычно!»

Он закурил и тотчас бросил сигарету. Прошелся несколько раз по комнате и опять опустился на диван. На лестнице послышались шаги.

«Это она!»

Стук.

Это была Регина.

— Добрый вечер, дитя мое! Ты спишь?

— Нет! Что ты хочешь?

— Пришла спросить, не отужинаешь ли ты дома? У нас заяц с кнелями. И его светлость внизу.

— Нет, большое спасибо! Я дома ужинать не буду!

— Не зажечь ли тебе лампу, мой мальчик? Здесь совсем темно.

— Не нужно, мама! Я через несколько минут уйду. Спасибо!

— Все-таки я лучше зажгу!

И мать принялась возиться с лампой: сняла молочно-белый стеклянный шар и зажгла фитиль, ворча на Каролину за то, что она небрежно чистит лампы и что в конце концов все приходится в жизни делать самой.

Упрямство и назойливость старухи вывели его из себя:

— Зачем ты зажигаешь? Я ведь сказал, что сейчас уйду!

— Чтобы поглядеть на тебя. Я ведь тебя совсем не вижу. Последние два месяца ты всегда возвращаешься на заре: потом спишь, а ночью я сплю, так и живем — рядышком, а друг друга не видим, каждый в своей норе, как два крота.

— Ох, мама, мама, и эти ваши лампы, и разговоры мне до смерти надоели! — Он поднялся и прошелся несколько раз по комнате.

Регина убрала его пижаму, сняла со стула серый пиджак и повесила на плечики.

— Почта была?

— Тебе ничего нет! Только какие-то английские газеты!

— Ведь тысячу раз просил, чтобы почту сразу приносили мне наверх! Газеты тоже почта! Но просить кого-нибудь в этом доме…

— Газеты читает его светлость. Не могла же я вырвать их у него из рук. Он, если что интересное прочтет, хоть расскажет, а от тебя никогда ничего не узнаешь! Его светлость слыхал от капеллана, будто ты расписываешь окна в каком-то американском кафедральном соборе?

Филипп не знал, что делать. Как избавиться от старухи? Было двенадцать минут восьмого. До ужина — значит, до восьми! Боба может прийти в любую минуту. Его осенило: он будет бриться.

— У вас есть теплая вода?

— Есть.

— Тогда, пожалуйста, будьте так добры, скажите Каролине, чтобы она принесла мне теплой воды для бритья! И кланяйтесь от меня его светлости, скажите, что я выйду к нему, как только побреюсь!

С этими словами Филипп поставил свой боль-

шой несессер на стол, открыл его и принялся вынимать и расставлять бритвенные принадлежности. Потом снял пиджак, развязал галстук и сел. Регина стояла неподвижно и глядела на него со спокойным (пожалуй, даже флегматичным) любопытством, потом, словно не веря, что он собирается бриться, переспросила:

— Значит, тебе горячей воды?

— Да! Пожалуйста! Только попросите Каролину, чтобы не кипяток!

Пожав плечами, старуха медленно затворила за собой дверь, и было слышно, как она осторожно переставляет свои подагрические ноги, спускаясь с крутой лестницы в сорок пять ступенек.

Филипп снова прошелся по комнате, потом закурил. Вкус никотина показался ему отвратительным. В окна доносился шум дождя, а сквозь этот шум однообразно и назойливо тренькала мандолина. Это дурачок Франциск сидит на пороге конюшни и каждый вечер не переставая бренчит на своей проклятой мандолине. Филипп отворил окно и заорал в темноту, чтобы Франциск прекратил наконец игру, что это не так уж приятно, как ему кажется. В ответ сквозь плотную завесу воды, которая стекала в стоявшие под стрехой кадки, донеслось неясное бормотание.

— Иди ко всем чертям! От твоей проклятой мандолины свихнуться можно!

Почувствовав холод, Филипп захлопнул маленькое окно, надел домашнюю куртку и сел перед зеркалом. Бриться было совсем ни к чему, он брился днем. Часы показывали восемнадцать минут восьмого.

«До восьми! А нет, то в кафе, как обычно».

Филипп снова заходил по комнате. Перед глазами встал мертвый Кириалес: двигая челюстью, он говорил о краниометрии. Покойный знал в самом деле необычайно много! А что означали слова Баллочанского, которые он сказал, стоя над зарезанным подводчиком: «Человек берет кухонный нож — и прямо в брюхо!» Нет, Баллочанский не опасен! Гнилое, трусливое ничтожество. Вонючий беззубый идиот! Кричал, точно он в кабаке. Кто-то поднимался по лестнице. Это Каролина несет воду.

Стук.

— Войдите!

Это была не Каролина. Теплую воду принесла сама Регина.

— Я же сказал, чтобы принесла Каролина! Зачем же было себя затруднять!

— Разве Каролина знает, что нужно? Нальет

прямо из чугуна, и готово! А я разбавила холодной. Зачем ты так нервничаешь, это нехорошо! На кого это ты кричал?

— На этого кретина с мандолиной!

— И верно! С раннего утра до позднего вечера бренчит на своей несчастной мандолине. Но что делать, мой мальчик? Надо же кому-то приютить сироту! Нашли его в лохмотьях: наверно, незаконнорожденный.

— Незаконнорожденный? Что значит незаконнорожденный? Есть и законнорожденные, которые все равно что незаконнорожденные! Это нам только кажется, будто есть что-то «законное», а на самом деле все в нашей жизни в той или иной мере незаконно!

— Вот видишь, мой мальчик, это-то как раз и нехорошо!

Филипп закурил и принялся разгуливать от шкафа к столу и обратно, нервно затягиваясь и выпуская дым. Мать провожала его взглядом, поворачивая голову за ним. «Что творится с этим человеком? Сказал, что собирается бриться, а вода уже остывает, совсем тепленькая». Потом она все-таки отважилась спросить сына:

— А чего это к тебе заходил Баллочанский?

— Зашел, зачем — не знаю!

— Странно, с тех пор как ты здесь, он заходит к тебе первый раз.

Филипп не ответил.

Бедняга! Сама не знаю отчего, но мне этого человека почему-то очень жаль! Он кажется таким приятным и благородным господином!

— И что вы нашли в нем приятного? Желтые, лошадиные зубы? Или козлиную бородку?

— А ты его чем-нибудь угостил?

Филипп не знал, что делать. Надеть пальто и идти под дождь? Нет зонта, а на улице ливень. Он остановился перед матерью и на этот раз грубо закричал:

— Какого черта вы морочите мне голову? Оставьте меня, пожалуйста, в покое! Вы ведь слышали каждое слово нашего с ним разговора, зачем же снова повторять то, что вы уже и так слышали?

— Сын мой, сынок, неладно с тобой, мой мальчик! Всегда ты был такой, вечно лез на рожон!

— Ах, оставьте, пожалуйста! Сорок лет прожил и еще десяток как-нибудь протяну, а там уже все равно!

— Ты, дитя мое, нехорошо поступаешь! Тот человек абсолютно прав! Весь Костаньевец вот уже целое лето только и говорит что о тебе и о

ней! Да и мне, ей-богу, неприятно!

— А вам-то что неприятно?

— Да смилостивится над тобой бог, сыночек! Ведь ты встречаешься с той особой под моим кровом, а это не может быть мне безразлично! Кроме того, я и о тебе думаю: это злая, испорченная женщина! Она уже погубила нескольких людей. И тот русский, которого нашли на железной дороге у Турчинова, и он тоже уединялся с этой особой, где только мог. От такой женщины добра не жди!

— Если вы, мама, хотите мне читать наставления, то лучше помолчите! Я не желаю слушать об этом ни слова. Пожалуйста! Вы слишком мало обо всем этом знаете, чтобы брать на себя роль судьи.

— Что тут знать? Достаточно иметь голову на плечах, чтобы понять: люди из-за этой бестии бросаются под поезда, сидят в тюрьмах, и ты из-за нее потерял здравый рассудок — что тут знать…

— Если вы не хотите, чтобы я ушел, то я очень прошу вас, замолчите, прошу…

— Я твоя мать, сынок, самый близкий тебе человек, и ни в ком на свете ты не найдешь такой искренности и доброжелательности!

— Да! Это правда! Ближе вас у меня нет никого на свете!

Он сел за стол с противоположной стороны и посмотрел на Регину. За светло-голубым кувшином старой керосиновой лампы, в сиянии молочного шара, сидела седоватая дама с белым платком на плечах, на шее у нее золотая цепочка, пальцы унизаны перстнями: это в самом деле его мать! Та самая мать, которая смотрела на него холодным взглядом через окованный медью глазок входной двери, когда он в смятении и отчаянии пришел домой; та самая мать, которая вышвырнула его на улицу и в голосе которой звучала откровенная гадливость! И теперь, как и в то утро, спустя двадцать три года, ситуация прежняя: он волочится за какими-то безнравственными особами, он компрометирует ее почтенный дом, и она чувствует к нему гадливость. Глупо! Словно не она бросила его на произвол судьбы, и многие годы он должен был жить хуже последней собаки! Все детство, да и не только детство, он сам, его характер, его душа, важнейшие этапы его жизни — все было отравлено окружавшей его гнилью! И эта женщина, из-за которой он проплакал много ночей, от которой унаследовал дурную кровь, эта женщина отгораживается от него, ей еще что-то не нравится, оскорбляет ее нравственность, поскольку в ее высоконрав-

ственном доме совершается безнравственность. Словно он в продолжение всего своего детства не чувствовал на себе взглядов всего этого вонючего сорочьего гнезда, любопытных, бегающих взглядов, которые ползали по нему, как гусеницы, и все из-за этой поповской креатуры! Словно она не отдавалась первому встречному и не обеспечила себе таким манером спокойную и почтенную старость, и вот теперь сидит тут, в своем добропорядочном доме, и читает ему мораль!

Филипп встал и приложил левую ладонь к затылку: начиналась его обычная мигрень. Веки стали тяжелыми и слипались, суставы налились свинцом. Он долго рылся в несессере, нашел таблетку успокаивающего и запил ее двумя стаканами воды. Регина сидела все это время неподвижно и с большим интересом следила за каждым его движением, не проявляя никаких намерений уйти. А большая стрелка часов полезла вверх: до трех четвертей восьмого оставалось еще семь минут. Закурив сигарету, Филипп снова беспокойно забегал.

— А из-за чего покончил с собой этот русский?

— Не знаю! Покончил, и все. Бывает в жизни и такое. Каждый день в газетах пишут о нескольких самоубийствах!

— Его светлость слышал от настоятеля, будто этот русский был необычайно образованный человек, дважды доктор и профессор университета!

Филипп сунул указательный палец между рубахой и галстуком с таким видом, что, казалось, сорвет его одним гневным движением.

— Мама, богом молю вас, перестаньте меня изводить! Что вы сегодня ко мне пристали, как банный лист? Оставьте меня, пожалуйста, одного! Неужели вы не видите, что у меня расходились нервы?

Регина, по-прежнему хладнокровная и собранная, не сдвинулась с места.

— Сказать по правде, дитя мое, я боюсь за тебя!

— А чего вам за меня бояться?

— Сказать по правде, боюсь, как бы эта к тебе не прилепилась!

— Кто? Что за «эта»? Что значит «эта»?

— Да эта — самая обыкновенная…

— Мама, ради бога!

— Я вижу, ты наивен, ты не имеешь понятия о женщинах!

— И вам не стыдно говорить мне такое в глаза?

— Если человек слеп, ему следует открыть глаза! А ты не видишь, ты ослеплен!

— И вы думаете, что именно вы призваны открыть мне глаза? Вы?

— Да, я твоя мать! Ты мой сын! Кто ближе тебе, чем я?

Филипп, шатаясь, подошел к этой женщине и вдруг почувствовал, как в глазах мутнеет: мать показалась ему бледным размазанным пятном с дурацкой напудренной клоунской маской. Грудь сдавило, он задыхался.

— Итак, вы полагаете, что призваны читать мне мораль? И в этом самом доме, построенном на такие же, если не на еще более грязные деньги, которые прячут в чулки девицы определенного сорта? А мое детство, а сам факт моего рождения, а табачная лавка, а все то, что происходило на Фратерской улице, а та старуха с отвратительной сойкой, а роль епископа во всей истории? Мама, мама…

Регина поднялась. Голос ее дрожал:

— Так разговаривать со своей матерью может лишь глубоко порочный человек, который не верит в бога!

— Да, госпожа Регина, вы всегда относились к своим торговым сношениям с небом с бухгалтерской аккуратностью: не у каждой из тех женщин, которые вас сегодня приводят в ужас, имелись

каноники, обеспечивавшие им спокойную старость в усадьбе, где можно играть в карты с их светлостями! Что вы на меня смотрите, словно я с ума сошел? Вот, мне уже сорок лет, а я до сих пор не знаю, кто, собственно, мой отец! Все детство я мучался этим вопросом, юность мою загубила эта тайна, а вы, виновница всего этого, еще беретесь судить меня с высоты своего морального пьедестала?

Филипп чувствовал, что говорит лишнее, что глупо перебарщивает, но он не мог уже остановиться. Драма начала разворачиваться. На овальном полированном столе у стены, на бархатной вышитой скатерти лежал пресловутый альбом с золотым обрезом, в бархатном переплете с позолоченным геральдом. В ярости он схватил этот альбом, это средоточие дьявольских мук своего детства, и, листая перед самым носом матери страницы со старыми побледневшими фотографиями, все больше распалялся:

— Вот, посмотрите сначала на эти фотографии, полюбуйтесь на эти замечательные снимки, а потом уж читайте мораль! Кто эти люди, откуда они? Откуда взялся этот камердинер, этот глупый епископ, этот каноник Ловро, кто все эти люди, сударыня? Кто эти господа в шубах, этот ваш брат

фельдмаршал-лейтенант? Вот и вы в костюме Коломбины, на балу венского Красного Креста. Почему меня назвали Сигизмундом? Кто такие Валенти? Что понадобилось здесь этому аббату пресвятой девы с брильянтовым крестом, который давал мне крону, когда я прислуживал ему во время обедни? Что это была за картина в черной раме, где вы, голая, лежите на облаках? А старуха с сойкой? А неизвестный господин в цилиндре? Кто из всех этих типов тут, в этой проклятой книге, мой отец? Говорите! Что вы смотрите на меня, как на ненормального? Черт бы драл и вас, и этот альбом, и все прочее.

Он с силой запустил альбом с золотым обрезом в стену, фотографии разлетелись по всей комнате.

Регина патетично перекрестилась (она уж целиком взяла себя в руки) и, согнувшись, принялась собирать разлетевшиеся фотографии, потом, складывая разорвавшийся переплет, тихо и примирительно сказала:

— Господь с тобой, дитя мое! Все мы люди грешные, самое важное вовремя прозреть и покаяться. А если тебя это так мучило, почему же ты не спросил? Я не видела тебя целых одиннадцать лет, а на случай своей смерти все тебе написала!

Я и сама уже несколько раз хотела поговорить с тобой, но в последнее время все не представлялось случая. И его светлость взял с меня слово, что я покончу с этим вопросом до нашей с ним свадьбы. Вот, пожалуйста, портрет твоего отца!

Она встала и протянула ему фотографию с золотым тиснением будапештского дворцового фотографа. Перед гипсовой балюстрадой в стиле ренессанса стоял великий жупан в магнатской парадной одежде, меховой шапке с пером цапли и с кривой саблей в обтянутых бархатом ножнах на боку — эфес этой дамасской сабли был весь усыпан стеклярусом. Его светлость доктор Лиепах Костаньевецкий в 1895 году. Тучный, намазанный бриллиантином, с большими à la Attila венгерскими усами. Флосманн, «Лотерейное попурри»!

«Венгерский его величества придворный фотограф Ловингер.
Площадь Дёбрентеи, 13. Будапешт».

Раздался стук в дверь.

Без трех минут восемь: «До восьми. Если нет, то тогда в кафе, как обычно!» Это могла быть Бобочка.

— Войдите.

Баллочанский. Это был Баллочанский.

Маленького роста, тщедушный от природы, этот человек в последнее время под тяжестью страшной, растущей с каждым днем угрозы паралича, который давал себя знать то окостенением суставов, то заиканием, двигался как пресмыкающееся: почти ползал, как слизняк, хватаясь за предметы. А в этот вечер, перебравшись через ветхий порог Филипповой комнаты, Баллочанский казался еще немощней: согнувшийся, с котелком в руке, он напоминал горбуна. Поклонившись раболепно госпоже Регине, он церемонно приложился к ее руке, со спокойной и любезной улыбкой извинился за беспокойство и сказал, что пришел по делу, которое касается не только его одного.

Регина собрала оставшиеся фотографии, взяла переплет альбома и затворила за собою дверь.

Повернувшись к Филиппу, Баллочанский тихо и с какой-то невероятной, почти неестественной грустью, приглушенно и едва внятно извинился за себя и за госпожу Радаеву, поскольку обстоятельства не позволили ему прийти раньше. Боба шлет сердечный привет и просит передать, чтобы Филипп не ждал ее сегодня вечером: необходимость в деньгах отпала, она никуда не едет.

Филипп, еще весь под впечатлением фотографии придворного фотографа, потрясенный и растерянный, поначалу никак не мог понять, о чем идет речь.

— Боба не едет, она не нуждается в деньгах и прийти не сможет ни сюда, ни в кафе и послала вас предупредить меня об этом?..

— Да! Она меня послала, чтобы вы понапрасну ее не ждали! Боба вечером не придет! Она осталась дома!

— Как дома? Ведь вечером ей надо быть в кафе?

— Да, от вас я пойду просить Фанику, чтоб ее заменили! Боба останется вечером дома. Между нами произошел серьезный разговор, потому я и задержался. Я объяснил ей, о чем идет речь, что я не умею играть на гармонике и что я не собака.

— А что она?

— А она начала плакать! Боба всегда была доброй женщиной! Именно это меня в ней и привлекало: она добра, как истая самаритянка. А насчет того, что Боба ухаживала целых два года за маленькой чахоточной виолончелисткой, о которой все говорили, будто она лесбианка, то это было не на почве лесбианской любви, а из самаритянского милосердия! У Бобы есть сердце!

У нее всегда было любвеобильное сердце!

Баллочанский залился слезами, голос его прерывался от рыданий. Потом он стал утирать слезы ладонью и засаленным краем своего котелка, но слезы все равно стекали струйками в усы.

Филипп подошел к нему:

— Ну хорошо, что она вам сказала?

— Я объяснил ей, как обстоят дела: «Боба, дитя мое, мы ведь не звери»...

— А что она?

— А она плакала вместе со мной. Взяла мою руку и поцеловала ее и сказала, что я очень несчастный человек. О, она давно уже не была со мной так добра! И потом послала меня сказать вам, что остается и что ей хорошо со мной.

Филипп слушал слабый, приглушенный голос, глядел на мокрые, слюнявые, залитые слезами усы, и ему казалось, что Баллочанский смотрит на него откуда-то издалека.

И это чувство какой-то невероятной отдаленности было единственным сильным впечатлением Филиппа, и в его возбужденном мозгу зародилась естественная мысль, что все то, о чем говорит этот бедолага, неправда.

Как так? Боба полчаса тому назад хотела уехать, а сейчас передает, что необходимость уезжать

отпала. Ведь о поездке в Гамбург говорилось уже больше двух месяцев! Здесь что-то не то! Он наденет пальто и пойдет с ним, чтобы самому услышать, что и как.

Баллочанский нисколько не смутился.

— О, пожалуйста! Если вы мне не верите, пожалуйста! Но, думаю, вам совершенно излишне тащиться по дождю! Я тоже говорил Бобе, что вы мне не поверите. Поэтому она сама вам обо всем написала!

— Где? Что она написала?

— Вот, пожалуйста!

Баллочанский извлек из правого кармана измятую бумажку и протянул ее Филиппу.

Филипп подошел к лампе, чтобы разобрать написанное. Это был какой-то счет.

АПТЕКАРСКИЙ И ПАРФЮМЕРНЫЙ МАГАЗИН

«АФРОДИТА»

Счет: Ее благородию многоуважаемой госпоже Павлинич-Радаевой.

В розницу. Счет за…

духи, одеколон, мыло, соли, хвойные соли . . . 3.724

В розницу, счет за…

духи, мыло и разные туалетные принадлежности . . . 3.141
Посылка духов в Дрезден Х.-Ф. . . . 1.215
Посылка духов в Дрезден Х.-Ф. . . . 4.375
На счет мадемуазель Е. . . . 243
На розничный счет за… 332
Посылка за границу в Париж С. . . . 4.214
Всего: 17.244
Уплачено.
С благодарностью

«Афродита».

На счете не было ни одного слова, написанного Бобочкиной рукой. А обратная сторона — абсолютно чистая. И вдруг Филипп почувствовал, что бумага липнет к пальцам. Что-то клейкое. Мокрое. В самом низу чистой страницы виднелся жирный красный оттиск человеческого пальца, точно печатка. Кровь. Филипп посмотрел на Баллочанского. Тот стоял не шевелясь и смотрел ему прямо в глаза, как собака, исполнившая команду «апорт!».

— Что это? Где вы это выпачкали? Это вовсе не письмо!

Когда, обойдя стол и стул, Филипп направился к лампе, он стал так, что между ним и Балло-

чанским оказался стол и стоящая на нем лампа. В молочном свете стеклянного шара он видел только силуэт Баллочанского. Отодвинув стул, Филипп подошел к нему вплотную и тогда увидел, что Баллочанский в крови. Правая штанина была просто пропитана кровью, и он стоял в луже крови.

— Что с вами? Вы в крови!

Поднеся левый указательный палец к губам, чтобы предупредить крик Филиппа, Баллочанский доверительно промолвил:

— Nescimus horam neque diem, carissime domine![69]

А потом, нахлобучив на голову свой котелок, распахнул дверь и выскочил из комнаты. В его прыжке, в том, как он скатился с лестницы, было что-то звериное. Дом заходил ходуном. Прямо с порога, перемахивая, вероятно, через десять ступенек враз, он скатился до самого низа, как клубок живого мяса, и под неистовый грохот досок тотчас исчез, точно растворился в темноте. Филипп бросился за ним без пальто и шапки. За собой он слышал возбужденные голоса, хлопали двери, кричали мать и Каролина, а перед глазами

---

[69] Примечания: 69
Не ведаем ни дня, ни часа, дорогой господин! *(лат.)*

была сплошная грязь; из влажной темноты доносился топот окровавленного человека, он, как затравленный зверь, убегал во тьму.

Филипп мчался под унылым осенним дождем, словно тоже сошел с ума, но зверь точно сгинул, его уже не было даже слышно. Филипп упал в канаву; на сквере налетел на колючую проволоку; у кафе люди, увидав его, подняли крик и побежали за ним… В доме над кирпичным заводом сквозь зеленоватые занавески пробивался свет из Бобиного окна. Весь в крови, исцарапанный, грязный, мокрый до нитки, Филипп вбежал в комнату.

На столе мирно мерцала свеча. Все было разбросано, как после отчаянной борьбы: подушки, платья, книги, перины, юбки… Поперек постели, свесив ноги на пол, лежала вся в крови Бобочка — Баллочанский перегрыз ей горло. Всюду была кровь: и на постели, и на подушках, и на ее черной шелковой блузке. Глаза Бобочки были открыты, и, казалось, она смотрит.



